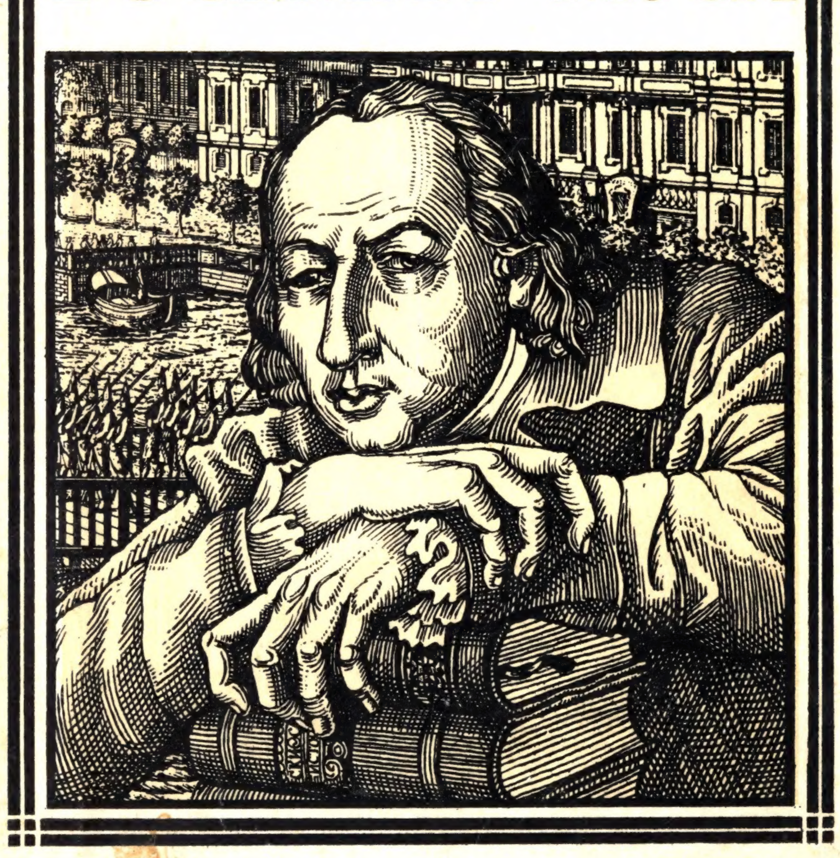
М. ПОДГОРОДНИКОВ

ВОСЬМАЯ МУЗА





О тех, кто первым ступил на неизведанные земли,
О мужественных людях — революционерах,
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве,
Кто с детства был настойчивым в стремленьях
И беззаветно к цели шел своей.

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1978

НОВИКОВ

Выпуск 59

М. ПОДГОРОДНИКОВ

ВОСЬМАЯ МУЗА

• страницы жизни •

страницы жизни
страницы жизни
• страницы жизни •

С02
П44

Есть тип деятельности, значение которой не сразу заметно и понятно. Она складывается из продолжительных усилий, постоянных, неуклонных. Шаг за шагом, день за днем человек приближает будущее. Он не взрывает, а готовит почву.

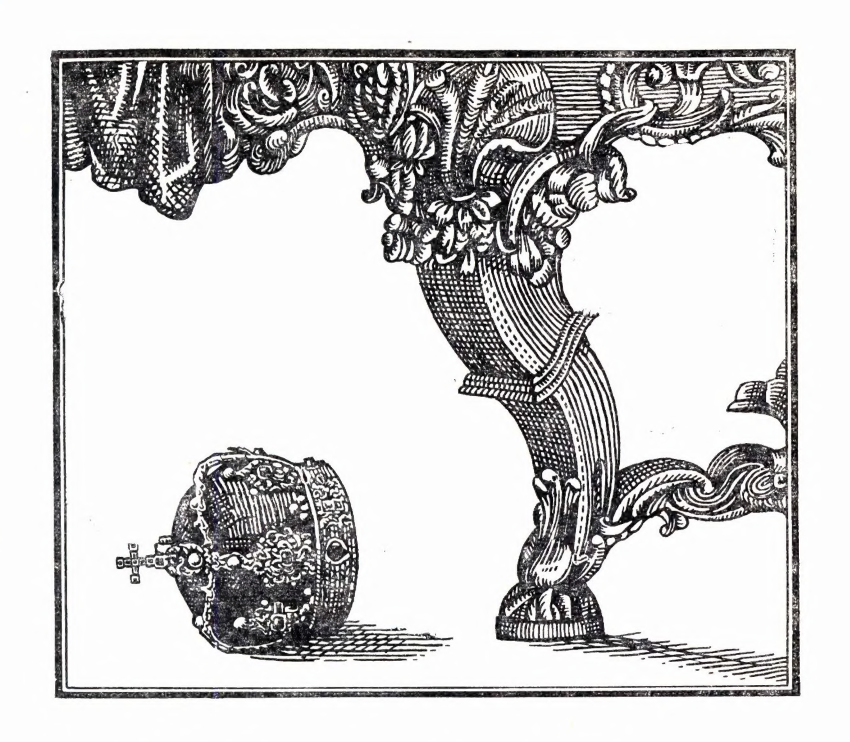
Новиков не выходил на Сенатскую площадь, чтобы ниспровергнуть царя, он не написал ни «Горя от ума», ни «Евгения Онегина». Но без него, без его многолетней деятельности не было бы подготовлено поле, которое взрастило декабристов; поле, на котором дали свои великолепные всходы таланты Грибоедова, Пушкина.

Нас поражает жизнь революционеров — их бурный, удивительный взлет. Яркий героизм ослепляет.

Но жизнь подвижников, просветителей, чья деятельность будничíа и упорна, порой кажется нам пресной, обычной.

Эта книга — попытка преодолеть несправедливость такого подхода...

П $\frac{70803-076}{078(02)-78}$ 75—78



СВЕТЛАЯ НОЧЬ СОЛДАТА НОВИКОВА

«Службу мою начал в лейб-гвардии Измайловском полку в 1762 году с генваря» — так, отвечая на вопросные пункты, писал он в каземате Шлиссельбурга, дрожа от ладожской сырости и вспоминая ту теплую счастливую июньскую ночь, прочерченную пиками мачтовых сосен, восторженные крики своих товарищей — гвардейцев, тяжелую поступь ботфортов и скрипучую пыль, повисшую над рассветной дорогой.

Он был зеленым юнцом, не окончившим гимназиче-

ского курса при Московском университете, новобранцем, которых в старину называли «новикàми». Оттого и фамилия произносилась с ударением на последнем слоге — Новикóв. Само ее происхождение указывало — предки его службы не чурались. Лямку тянули прадеды и деды, во времена Петра Великого был морским офицером его отец, Иван Васильевич. Пришла пора надеть солдатский ранец и Николаше Новикову.

1762 год оказался переломным не только для него, но и для всей России. К лету в Измайловском и Преображенском полках составился заговор против Петра III. Тайно называли имя будущей самодержицы Екатерины, царской жены.

Гренадер спал стоя. Иногда он прихрапывал покачиваясь, и тогда полосатая будка, которой он касался плечом, мелко вздрагивала и, казалось, тоже лениво урчала.

А рядом шелестел укоризненный капральский голосок:

— Граф, граф, не спите! Стыдно-с! А как полковник увидит?

Мучение с этими графскими сынками! Детина этакий вымахал, а разберись — чистый младенец. Конечно, гаркнуть на него можно, но и то не забывай: у графа тысяча душ в Малороссии, а у тебя, у честного служаки, двое крепостных под Калугой. Прежде чем рявкнуть, подумай...

— Граф, граф, в арестантскую попадете... Ох, не быть вам генералом...

Окажись они на плацу, погонял бы этого увальня, показал бы ему, что служба не мамкины пироги... Но сейчас шуметь неохота, ночь уж больно ласковая. Да и ночью ее не назовешь: светло, вон и пылинку на прикладе видно.

— Граф, взгляните, красота какая! Заря разливается...

Гренадер приоткрывал глаза, утвердительно кивал и снова впадал в сон.

Николаша стоял неподалеку, у подъемного моста и тихонько смеялся. До него доносились и похрапывания гренадера, и укоризны капрала. Мертвое дело: Ляхницкого и фельдмаршал не разбудит...

Розоватый блеск разливался над Петербургом. Торжественно сиял светлый небосвод. В Фонтанке серебряно всплескивала рыба. На том берегу вяло стучал колотушкой сторож. Чутко спали казармы Измайловского полка.

Маленький капрал решил оставить в покое дремлющего гренадера и отправился дальше смотреть посты. Он подошел к часовому, стоящему у подъемного моста, и взглянул на него кроткими покрасневшими глазами.

— Притомился, чай?

— Никак нет, — тихонько ответил Николаша.

— Молодец!.. Сегодня служба не в тягость. Такую ночь господь дарует...

— Так точно!

Капрал остался доволен живостью ответа и благодушно завел свою тянучку:

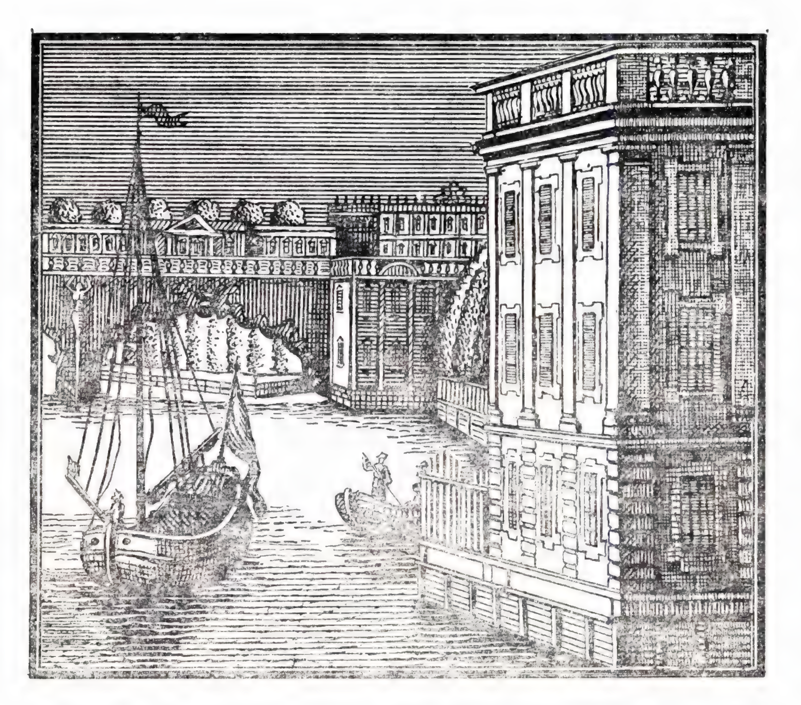
— Эх, гвардейцы сопливые, смотрю, не служба у вас, а сахар! Райские кущи! Вот мы в прусскую кампанию на часах стояли у провиантского склада. Под Цорндорфом это было. Хляби небесные разверзлись. И снег и дождь мочит, а ты стой: о ретираде и мысли нет! Пруссаки из пушек палить стали, товарищу ногу оторвало. Так и стояли день и ночь, день и ночь. Товарищ без ноги, а я с ревматизмом.

Это что же, на одной ноге товарищ стоял? Разболтался старый служака сверх меры, нарушает устав. Хорошо, видать, поужинал...

Капрал почесал нос и опять завел свою песню:

— Как-то сегодня государь император почивает? Небось тоже не спит, все о России думает.

Как же, думает! Николаша помрачнел. Припомнил-



ся ему император, вечно пьяный, с тупыми остекленевшими глазами. А капрал умилялся. Потрогал пуговицу на мундире и весь засветился от радости.

— Зоркий человек! Меня на плацу приметил. Кричит издалека: «Почему пуговица не в строю? Перекосил, балбес! Стыдно, гвардеец!» Подошел и оторвал пуговицу. «Блеску нет! В следующий раз проверю!» И унес мою пуговицу с собой. А в следующий парад сразу нашел меня глазами. Как орел смотрит, зорко! А пуговички мои горят и по ниточке вытянулись. Улыбнулся, ничего не сказал. Вот какой государь-батюшка!

Звездно сверкали пуговицы на капральском мундире. Видно, драил их каждый день мелком.



— Любит солдата государь! Зоркий, веселый!

— Пьяница он! — чуть слышно прошептал Новиков.

Капрал обмер.

— Что, что ты сказал?

Закружилась земля под ногами, и померкла ночь. Новиков сжал ружье и твердо глянул в выкатившиеся капральские глаза.

— Пьяница, — повторил он громче.

Капрал замахал руками, отгоняя нечистого.

— Как же ты! Как же ты... на особу царскую. Ах ты! Ах ты! — Отбежал на несколько шагов и, тронув саблю, пригрозил: — Ну погоди! Головорез! Каторжная душа! Ты еще в железах погуляешь!

Николаше стало страшно и легко. Страшно от угроз, а легко оттого, что слово выкатилось прямо, от души. Сказал то, что думал, о чем говорил каждый второй в полку... Уж очень гадок пропивший разум император. Шут! Ах, если бы только шут! Сказывают, что в прошлую кампанию все батальонные секреты пруссакам выдавал, все тайные распоряжения ихнему королю Фридриху сообщал. Вот и терпели поражения, вот и отрывало ноги русским солдатикам. А недавно на плацу Петр заставил своего арапа Нарцисса продефилировать перед знаменем и оцарапать его пикой. Все кипели от негодования. Гвардейское знамя поганит арап! Отчего? Что случилось? Оказалось, что таким манером император спасает честь своего любимца, которому в драке разбили нос...

По полковому двору прошел капитан Муравьев и, остановившись, стал смотреть в сторону ворот и моста. К нему подошли офицеры. Стали плотной группой, о чем-то оживленно говоря. Потом один махнул рукой, и группа развалилась. Муравьев постоял в ожидании и пошел к казарме.

Чего им не спится? Белая ночь — безумная ночь, верно говорят... И даже мост сегодня забыли поднять...

Нянька испуганно цеплялась за рукав, но Алексей Орлов оттолкнул ее и вбежал в покои царицы, гремя запыленными сапогами.

Екатерина спала чутко. Она открыла глаза, заслыша шаги, и вмиг села на постель.

— Пассек арестован, — хрипло сказал Орлов.

Царица спрыгнула с постели и в одной ночной рубашке заметалась по комнате, судорожно перебирая одежды. Орлов смотрел не отворачиваясь.

Наконец Екатерина нашла нужное. Нянька, причитая, стала напяливать на нее платье. Екатерина послушно застыла, глядя через узкое окошко Монплезира на плоское серое море.

— Что Петр? — прошептала.

— Пьян, слава богу, — отвечал Орлов.

Она вздохнула успокоенно, и Орлов это заметил.

— Поторапливайся, матушка, — сказал он грубо, — у тебя две дороги: либо на трон, либо на плаху. И мы с тобой, грешные.

Слова хлестнули. Екатерина с ужасом взглянула на себя в зеркало. В сумрачном блеске июньской ночи неясно высвечивалось ее белое платье, и лицо зыбко маячило в тяжелой зеркальной раме.

Пассек арестован... Ее друг, главный помощник в святом деле, участник заговора против негодного монарха... Успеет ли она? А если неудача? Тогда плаха... Она взойдет на нее с достоинством, как шотландская королева Мария. Но белое платье для сей печальной кончины не годится. Надо строгое, темное...

Екатерина стала сдирать с себя белое платье.

— Матушка, — только уронил Орлов.

— Черное, дай черное, — шептала Екатерина няньке. — Скорее...

У кареты поджидала дрожавшая от утреннего холода фрейлина, и кучер подтягивал упряжь, хладнокровно поглядывая кругом, привыкший ко всему.

Екатерина повернулась к морю, которое всегда успокаивало ее. Но сегодня с моря неприветливо тянуло тяжелым северным холодом. Екатерина торопливо вошла в карету. Камер-юнкер вскочил на запятки.

Орлов взобрался на козлы рядом с кучером и оглянулся на оцепеневшую в карете царицу.

— Ну, матушка, с богом! Гляди, денек будет жаркий!

Кучер дернул было поводья, но Орлов, выхватив у него кнут, яростно ожег лошадей.

Он хлестал их, когда карета отъехала от Петергофа, он хлестал их по взмокшим бокам, когда колеса покатили по ровной песчаной дороге, идущей к Петербургу, он хлестал их, когда, хрипя, они уже сбавляли бег.

Страх схватил Орлова за горло, когда он почувствовал, что кони сдают. Не иначе, опоил их конюх: влил в брюхо каждому по бочке, петровский выкормыш, вонючая требуха, прусский шпион.

— Недосмотрел, каналья, — шипел Орлов. — Испортили коней.

— Помилуйте, ваше превосходительство, — оправдывался кучер, — как можно. По закону давали, положенное...

— По закону! Вот повешу тебя за ноги... по закону.

Шепотом изливал Орлов проклятия на голову кучера. Но громче сказать боялся, на царицу не оглядывался. Знал: станут кони, погибло дело. В поле Петр придавит, как блох на ладони. Одна надежда, что спит пьяница. Но ведь холопы его не спят, заарканят и потянут на дыбу.

И кони стали. Правый вдруг споткнулся, передние ноги его подогнулись, и он рухнул на колени.

Орлов спрыгнул с козел, злобно сжимая рукоять плети. Конь хрипел, с ужасом отворачивал морду от подходившего человека.

— Не надо, — раздался за спиной голос Екатерины. — Не бей.

— Жалостливая ты, матушка, — отвечал Орлов. — А добреньких как траву выкашивают. Ну что ж, птичек слушать будем.

И он бросил мокрую плеть на песок.

Кротко алело на востоке. Тихо шелестели сосны. Кукушка гулко бросала по лесу стоны, отсчитывая, кому сколько жить осталось.

— Вот так поселиться бы в лесу, в простой избушке, — произнесла Екатерина. — Цветы собирать, пчел разводить.

Орлов скривился.

— А я в конуре жить буду, лаять, сад охранять.

Екатерина засмеялась.

— Нет, ты будешь главным садовником.

— Из пса садовника не получится,— пробормотал Орлов.

— Ты, кажется, мне грубишь? — Она выпрямилась надменно.

— Тебе — никогда, — умильно произнес Орлов и захлопотал у лошадей.

В этот момент на дороге со стороны Петербурга показалась одноколка. Бойко бежала лошадка, в легкой коляске сидели двое. Вмиг зарей засияло в душе Алексея.

— Григорий! Господи, матушка, глянь, Григорий!

Екатерина счастливо улыбалась.

Одноколка поравнялась с каретой и остановилась. На землю сошел Григорий Орлов, преображенский офицер, давний любимец Екатерины. Не глядя на брата, торжественно неся себя, он сделал несколько шагов к царице и поклонился. Безмолвная, бледная Екатерина протянула ему руку.

Они прошли, как в танце, по скрипящему под ногами песку к лошадке, которая весело и одобрительно встряхивала головой. И Алексей, следя за их застывшими улыбками, за тем, как напряженно-сдержанно, с сознанием исторической минуты, выступал брат, подходя к покривившейся колясочке, отер лоб рукавом и подумал ликующе: «Быть Гришке царем».

На передке разместился Алексей, а Григорий с Екатериной сзади. Лошадка рванула сама, без понукания. И Екатерина, жарко стиснув Григорию руку, влепила поцелуй в запылавшую щеку спасителя.

А на дороге у брошенной кареты в растерянности стояли люди из свиты.

Николаша маялся: ноги затекли. Уж пора бы часового сменить, но, видно, маленький капрал тянет со сменой, решил помучить.

Гренадер у будки проснулся и озирался по сторонам. Его тоже никто не сменял.

Баловни гренадеры: на парадах впереди всех, а лямку солдатскую не хотят тянуть. Вот и этот богач Ляхницкий в фаворе: сколько раз нарушал устав, а полковник Разумовский, малороссийский гетман, все прикрывал его проступки.

Ляхницкий раздраженно потоптался и вдруг шагнул от будки. Новиков ахнул: так и есть, уйдет не спросясь.

Ляхницкий сделал еще шаг и остановился всматриваясь. Новиков проследил за его взглядом.

К казармам приближалась коляска. На облучке сидел и помахивал плетью бывалый преображенец, забияка и драчун Алексей Орлов.

Еще на ходу из коляски соскочил его брат Григорий.

Отчаянно гремя по дощатому настилу, с остановившимися глазами, он промчался по мосту, затряс над головой обеими руками и закричал:

— Встречайте, государыня едет! Тревога!

Гренадер Ляхницкий кинулся к караульной. Новиков замер на посту. Барабанщик забил тревогу. Из казарм повалили солдаты, офицеры. Ударила пушка, салютуя.

Григорий Орлов вернулся к коляске и теперь вступал на мост, держа за руку женщину в черном. Новиков похолодел, вглядываясь в посеревшее, усталое лицо царицы, о которой столько слышал. Бедная, сколько она вытерпела от придурка мужа! Екатерина улыбалась измученно и кивала, произнося еле слышно: «Здравствуйте, ребятушки!» Ласково кивнула она Николаше. Солдат сжал до боли ружье, сердце прыгнуло в груди: прикажет — умру.

Со двора хлынула толпа гвардейцев, и Григорий Орлов поднимал руку, расчищая проход. Николаша оставил пост, бросился за всеми.

«Ура!», «Да здравствует матушка Екатерина!» — ревели гвардейцы и протискивались поближе. Маленький капрал мрачно стоял в стороне, обнимая ружье.

«Сбор, сбор!» — пела труба. Ляхницкий навалился

на Новикова своим громадным телом и заорал в ухо: «Слыхал, царь хотел погубить нашу матушку, зарезать хотел...» Он всхлипнул и завопил: «Ура!»

— Прикажи! С тобой в огонь и в воду! — ревели измайловцы.

— Присягайте мне, ребятушки, — ласково сказала государыня.

«А-а-ра-а!» — взорвался над казармами тысячеустый клик.

— Стой! Расступись! — пробежало по толпе. Гвардейцы пихали друг друга локтями, откатывали в сторону.

На румяном лице полкового священника кротко светились голубые глаза. Отец Алексей шел по проходу в толпе, кивал своим любимым измайловцам. Приблизившись к государыне, он строго взглянул на нее, словно оценивая, вздохнул и медленно поднял крест.

— Да благословит бог царствие твое, да будет крепок дом твой, да будет покоен и счастлив возлюбленный народ твой! Самодержице российской Екатерине многая лета! Многая лета!!!

«Многая лета!» — покатилось по двору. Толкаясь, измайловцы потянулись губами к кресту. Склонил колени перед императрицей полковник Разумовский.

— Шевелись, старый гриб, — загудел на ухо священнику Алексей Орлов... — Время идет. Все вздыхаешь, не радуешься, что ли?

— Восшествию на престол радуюсь, — чуть слышно отвечал отец Алексей и снова вздохнул. Алексей Орлов насмешливо взглянул и склонил голову:

— Благослови, батюшка.

И священник благословил смутьяна.

— Иди впереди, — сказал, целуя крест, Орлов.

Такого еще не видела Измайловская слобода. Впереди всех семенил отец Алексей, торопливо осеняя крестом разинувших рты петербуржцев.

За ним устало перебирала ногами все та же лошад-

ка, которой на помощь теперь пристегнули вторую. По бокам коляски висели двое: справа Григорий Орлов помахивал царственно рукой, слева генерал-поручик Вильбоа грозно сверлил толпу взглядом. Екатерина с застывшей улыбкой кланялась народу.

Гренадерские и мушкатерские роты перемешались. Новиков спешил за Ляхницким. Выспавшийся на посту гренадер теперь был одержим деятельностью. Он поминутно что-то узнавал, что-то сообщал, вздымал руки вверх и кричал «ура»... Внезапно он остановился и схватил Николашу за руку.

— Стой! — Его румяное, курносое лицо горело. — Идем!

— Куда? — недоумевал Николаша.

— Идем! — Ляхницкий тянул его за рукав. — Здесь живет прусский шпион, фискал. Сейчас мы его изобличим!

Ляхницкий указал на трактир с пивной кружкой на вывеске:

— Идем!

— Но мы отстанем?

— Идем! Поможем нашей матушке и раздавим пруссака.

Ляхницкий ткнул дверь, и они вошли в чистенькую залу трактира. Из-за стойки поднялся Медер, хозяин-немец. Он сдержанно поклонился.

Ляхницкий неторопливо прошелся по трактиру, заглянул во все уголки и со строгим видом остановился перед хозяином.

— Да здравствует матушка Екатерина! — рявкнул он и грохнул прикладом об пол. — Ура!

Немец вздрогнул и тихонько произнес:

— Ура...

Ляхницкий с подозрением осмотрел немца и стойку с вином.

— Бургундского отведаем, — с расстановкой сказал он.

Трактирщик сложил руки на груди.

— Господам солдатам не полагается. Ваш начальник мне указывал.

— Это что же, ты нам препятствуешь выпить за здоровье царицы? — грозно вопросил Ляхницкий.

Немец дрогнул. Он засуетился и стал наливать бокалы.

— За здоровье несравненной Екатерины! — торжественно произнес Ляхницкий и выплеснул вино в свой огромный рот. Николаше захотелось так же лихо и небрежно расправиться с бургундским, но глоток был слишком большим, и он поперхнулся.

— Эх, слабы мушкатерцы, — закричал Ляхницкий, — плохая опора трону! А ты что же, прусская душа, брезгуешь?

Немец слегка пригубил бокал.

— Не выпить ли еще? — засомневался Ляхницкий. — Нет, у тебя скверное вино... Мы поищем другого.

— Я предпочитаю венгерское, — сказал Николаша.

— Правильно! — воскликнул Ляхницкий. — Венгерцы не чета пруссакам.

Николаше стало весело.

— Это вино неважное: живот может заболеть. А нам предстоят тяжелые бои!..

— Правильно! — заорал Ляхницкий. — Нам предстоят тяжелые бои! Вперед!

Немец всполошился:

— Господа! А кто будет платить?

— Как? — закричал Ляхницкий. — Ты хочешь испортить нам праздник?

Немец оробел.

— Идем! — Ляхницкий потащил Новикова к двери. — Таракан есть таракан!

На крыльце Николаша остановился, пошарил в карманах, вытащил двугривенный и кинулся обратно в трактир. Он положил монету на стойку и выбежал на улицу.

Царица была уже далеко. По улицам бежали группами солдаты. По их раскрасневшимся лицам было видно, что и они разоблачали прусских шпионов.

Когда Новиков и Ляхницкий подошли к Казанской церкви, служба кончилась. Из дверей выходила императрица Екатерина II, сияя мученической улыбкой, все в том же темном платье, в котором готовилась к эшафоту, а теперь восходила на трон. Гремело в церкви и вокруг «многая лета», и торжественно выступали за самодержицей Орловы, Разумовский, высился над всеми вахмистр Измайловского полка Григорий Потемкин.

Коляска с императрицей покатила к Зимнему дворцу, и снова повалили за ней солдаты и народ.

Новиков шел за всеми, глотая пыль, радостно крича «ура», щурясь от бликов, играющих на штыках, толкаясь, теряя и снова находя Ляхницкого. Он шагал без устали, пьяный от вина, от солнца, от небывалых событий. Рушилось царство сумасшедшего шута, и прекрасная новая царица одаряла всех лучезарными надеждами.

Вечером от императора Петра III прибыл парламентер — граф Воронцов.

— Ну, выходит, граф, я виновата? — прищурившись, говорила Екатерина петровскому посланцу.

— Ваше величество, — с несчастным видом отвечал Воронцов. — Один бог измерит вашу вину. Но народ смутен, унижена монархия. Смутное время всегда плохо кончается на Руси.

— Я виновата? — с ударением повторила царица. — Я, которая готовилась к другой роли: роли жены, матери, хранительницы рода, воспитательницы сына? Я ждала покоя, семейных радостей. Я искала тишины и самых верных друзей — книг. И что же я получила? Оскорбление, унижение. Но что я... Если бы только дело касалось меня, я бы стерпела. Унижена Россия.

Голос царицы задрожал, и слезы заблистали на ресницах.

— Петр Федорович — добрый человек, — снова заговорил Воронцов. — Он вспыльчив, не всегда умерен, но отходчив и понимает свои недостатки. Пережитые страдания еще больше объединят вас. Из избы нельзя выносить сор, говорят в народе.

— В народе? — воскликнула Екатерина. — Вы слышали глас народа? Вот он.

Она подошла к окну и распахнула створки. Гвардейцы, завидев обожаемую царицу, повскакали с мест. На Воронцова обрушился их восторженный рев. Граф потупился.

— Видите! — произнесла Екатерина, довольная эффектом. — Не я действую, я только повинуюсь желанию народа. Я, видит бог, искала тишины, а не войны.

Она резко повернулась и ушла в задние комнаты. Воронцов и его свита остались в ожидании.

Екатерина вошла спустя полчаса. Ее сопровождала княгиня Дашкова. Обе были одеты в офицерские мундиры Преображенского полка петровского времени, с андреевскими лентами через плечо. Царица прошлась по залу неторопливо, чтобы все оглядели ее в наряде, звякнула шпорой. Заговорила резко, чеканя слова:

— Господа сенаторы, я выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол. Оставляю вам под стражу отечество, народ и сына моего... А вы, — она кивнула Воронцову, — выбирайте: с кем вы?

Воронцов ошеломленно молчал некоторое время.

— С вами, — уронил.

Екатерина милостиво махнула рукой в сторону, где уже ждал священник с крестом для приведения к присяге...

Выступили к ночи. Солнце ползло за Невой по верхушкам деревьев. Тени от штыков потянулись через площадь. Перед строем измайловцев легкой рысью про-

шли гусары. Ладные, слитые с конями, молчаливые, серьезные, они возбудили в солдатах ощущение опасности. После шума, беготни, бестолочи дня Николаша почувствовал, что надвигается что-то настоящее, грозное, что не шутки ради ушли вперед гусары, что в каждый миг на полки могут обрушиться ядра.

Появилась новая группа всадников. Впереди на белом коне скакал небольшого роста преображенский офицер. Он поминутно поправлял болтающуюся сбоку саблю и дергал повод, торопливо взмахивая рукой не то в приветствии, не то пытаясь сохранить равновесие. И приняли бы его измайловцы за обыкновенного посыльного, если бы не андреевская лента, пересекающая грудь. Вгляделись и заметили локоны, выбивающиеся из-под шапки, ахнули: «Императрица...»

Преображенец на белом коне вырвал саблю из ножен, что-то неслышно крикнул. «Ура-а-а!» — грянуло молодецкое, гвардейское.

Это было необыкновенно, и Николаша почувствовал себя счастливым. Красавица императрица в мундире Преображенского полка старого покроя словно клялась, что будет верна заветам великого Петра. Бесстрашная, как Жанна д'Арк, мчалась сокрушать ложь и тиранию. Не будет ночи на русской земле, светлая правда разольется по ней.

Шагала пехота, катили пушки, скакала конная гвардия. Воинство тучей надвигалось на Ораниенбаум, где корчился в страхе вдруг ставший одиноким император Петр Федорович.

Новиков шел в колонне, напряженно смотрел вперед, пытаясь увидеть Екатерину, но мешали однообразно маячившие затылки солдат. От мерного шага одолевала дремота. Мечталось: подходит к нему на привале царица, тихо кладет руку на плечо и говорит: «Я знаю, ты прям и смел. Помоги мне. Найди и приведи ко мне тирана. Но не убивай его. Пусть он покается. Жизнь злодея, как и жизнь героя, поучительна».

— Эй! — грубо закричали сзади. — Никак голову потерял! Иди не спи!

Николаша вздрагивает, поправляет ружье на плече и старается попасть в шаг. Размаривает, вторую ночь без сна.

Легкий сумрак накрыл дорогу, примолкли птицы, пехота пошла тяжелее. В Красном кабачке сделали привал.

Императрица заняла большую комнату в трактире и легла почивать.

Поляна перед домом разукрасилась кострами. Легкий сумрак густел от языков пламени, но и от этого ночь не становилась ночью. Николаша бродил в полусне по краю поляны. Неясная солдатская масса сливалась в одно грозно колеблющееся большое тело.

И эта масса, как песчинку, кинет его завтра в битву. Сомнет и поглотит. И никто не узнает, зачем жил недоучка из подмосковного сельца Авдотьина.

Николаша бредет, спотыкается на кочках. В окне императрицы светится огонек. Не спит, знать, тревожится...

На скамеечке неподалеку от трактира дремлет капитан Муравьев. Заслышав шаги, он вскакивает.

— Почто слоняешься? Почему не при деле? — Он грозно выкатывает осоловевшие от бессонницы глаза.

— Хочу в разведку идти, — с жаром говорит Николаша.

— Ишь, Аника-воин. В канцелярии будешь воевать. Там дел полно.

— В канцелярию не хочу. Сказывают, голштинцы подступают.

— А, голштинцы, — зевает капитан. — Ништо... всыпем им.

— Престол в опасности, — дрожащим голосом говорит Николаша. — Всякая леность, всякая беспечность осудительна.

Капитан застывает от удивления. Что это? Мальчишка... указывает.

— Государыня ждет, что мы не пощадим сил, — продолжает Николаша.

Капитан с яростью смотрит на Новикова, потом оглядывается на дом, где светится окошко, и сникает. Он достает платок и медленно вытирает вспотевший лоб.

— Хорошо... пойдешь в дозор. Капрал! — кричит он.

Явился капрал и с унылым лицом выслушал приказ.

— Подрасти бы тебе надо, — почесался капитан. Он презрительно посмотрел на Новикова. — Коль стычка случится, кто будет драться?

Николаша покраснел.

— Разрешите предложить. В гренадерской есть силач — Ляхницкий.

— Ляхницкий? Знаю. Зови.

Гренадера позвали, и через пять минут все трое выступили в лес.

Николаша идет впереди, напряженно всматриваясь. За каждым кустом ему чудится враг. За спиной переваливается, как медведь, Ляхницкий, словно нарочно, наступает на каждый сучок и бубнит, бубнит. Николаша умоляюще оглядывается, Ляхницкий благодушно кивает: «молчу, молчу», но через минуту опять заводит свое.

— Вот поймаем твоего недоумка, капрал, пострижем и в монастырь.

— Полно, граф, — тоскливо отвечает капрал.

— Будет пасти монастырских коз...

Из дозора они вернулись героями: на дороге остановили гонцов от царя Петра и привели их как пленных. Впереди Ляхницкий, победно выставив ружье. За ним Николаша, увешанный оружием. Сзади капрал вел захваченных лошадей.

Государыня вышла к ним в окружении свиты. Посланцы упали на колени.

— Матушка! — завопил один из пленных. — Привезли мы к тебе царское повеление...

— Повеление? — недобро переспросили в свите.

— Не слушай его, неразумного, — вмешался другой солдат. — Привезли царское послание...

— Царское?..

Свита захохотала. Екатерина чуть улыбалась уголками губ. Гонцы смотрели умоляюще.

— Не погубите, ваше величество...

Екатерина, глядя куда-то в сторону поверх голов, небрежным движением вскрыла конверт. Она вынула письмо, пробежала глазами и со спокойной улыбкой разорвала. Повернулась и пошла в комнаты.

— Матушка! Хотим с тобой! На смерть пойдем! — застонали все трое.

Екатерина остановилась, слегка повернула голову:

— Зачислить солдат на довольствие...

Николаша ел кашу у костра, и сон морил его. Слипающимися глазами он видел, с какой жадностью уписывают кашу петровские гонцы.

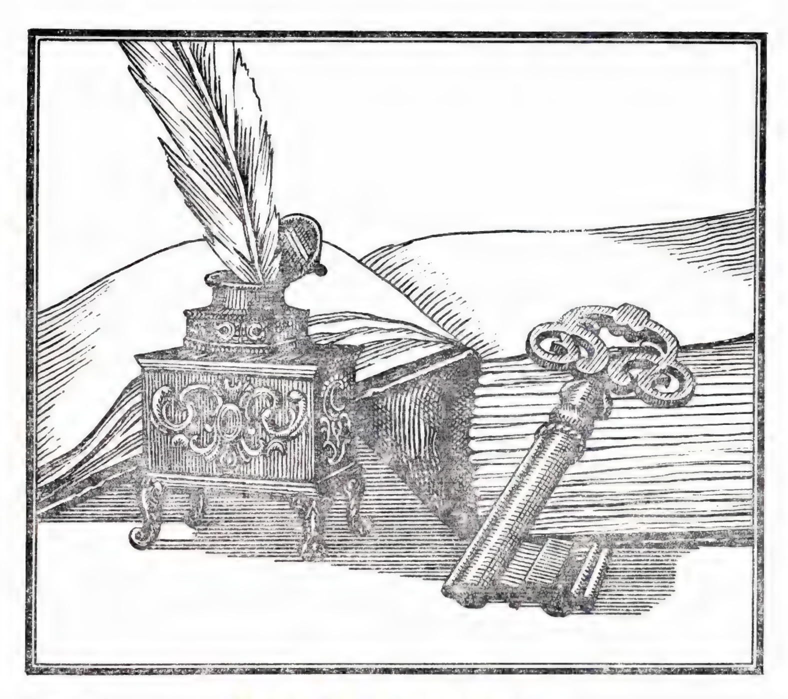
Шагали, бежали, крались, воевали. И что же? Вот он, результат: три жадно жующих перепуганных солдата.

Николаша устраивается на соломе, разостланной неподалеку, потягивается. Ничего, завтра день будет веселей: сломим войско Петра третьего и восторжествует Екатерина вторая. Вторая после первого Петра. Он засыпает с улыбкой.

Наутро армия снова движется к Петергофу и Ораниенбауму. Снова во главе скачет на белом коне государыня, и треуголка, притянутая к крепкому самодержавному подбородку, плотно держится на ее голове.

Беспечно устремляется за царицей молодая самоуверенная свита. И войско, грозно пылящее по дороге, охраняет эту беспечность и самоуверенность.

В колоннах шагает юный солдат Николай Новиков, и будущее ему представляется ровным и солнечным, как эта песчаная дорога в жаркий июньский день.



ГОРОД БЕЗДЕЛЬЯ

Екатерина праздновала победу! Фейерверки огненным разноцветным дождем падали на примолкшую в ожидании землю. Потом посыпались награды на тех, кто штыками расчистил путь жене Петра III к трону. Особенно отмечен Алексей Орлов, убийца царя. Впрочем, о событиях на мызе Ропша не было и речи — манифест с печалью извещал о смерти царя от «геморроидальных колик».

Россия ждала многого от переворота, и она, полновластная царица, была и впрямь готова облагодетельствовать страну — издать новые законы, содействовать

развитию ремесел, торговли, просвещения. Из депутатов различных сословий она собирает комиссию по подготовке свода основных законов Российской империи.

«Будучи унтер-офицером, взят был в Комиссию о сочинении проекта Нового Уложения и во время диспутов прикомандирован был к держанию дневной записки», — читаем мы в протоколах допроса Новикова.

Ожидание было невыносимым. Депутаты покидали зал не спеша, говорили и говорили меж собой, словно речами не насытились. Но вот наконец уходит последний, и Николай Новиков, держатель дневных записей в Комиссии по составлению проекта Нового Уложения, остается один. Он продолжает разбирать бумаги, поправляет тексты речей, но делает это уже нехотя, все время прислушиваясь. С бьющимся сердцем он осторожно идет к огромному шкафу, где хранятся важные книги и документы, и достает ключ. Шаги за дверьми заставляют его вздрогнуть и отказаться от своего намерения.

Но он терпелив. Исподтишка он следит за сторожем, который, кряхтя и ворча, подметает проходы. Когда тот пытается заговорить, Новиков делает вид очень занятого человека и отвечает односложно, чтобы не продлить и так уже затянувшееся ожидание.

Сторож удалялся. Звуки замирали. С тишиной приходило счастье.

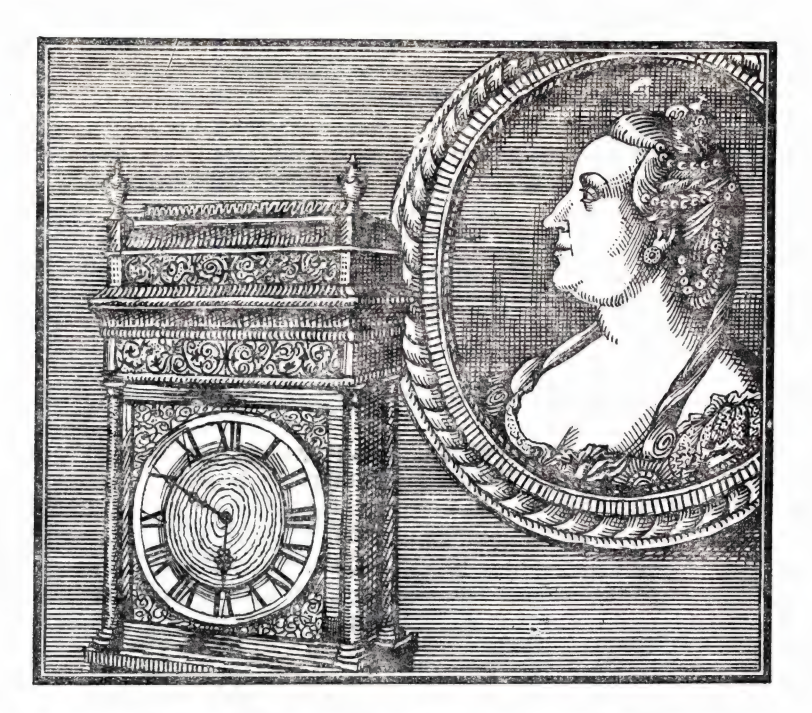
Он снова крался к шкафу. Ключ щелкал в замке, словно пистолетный выстрел, дверца предательски визжала. Он оглядывался, но скамьи депутатов доброжелательно молчали, а государыня ласково глядела с портрета.

И вот заветная книга в руках. На титульном листе значится: «Наказ Императрицы Екатерины, данный Комиссии о сочинении проекта Нового Уложения». Отмечено число и место печатания: «июль, 30 дня 1767 года, при Сенате».



При Сенате... Книга издана для избранных, недаром председатель Большого собрания, маршал Александр Ильич Бибиков хранит ее под замком, разрешая пользоваться особо уважаемым депутатам. Николай Новиков, как пес цепной, должен стеречь «Наказ», а наслаждаться чтением предназначено тем, кто верховодит в собрании: маршалу Бибикову, графу Григорию Орлову, князю Михайле Щербатову. Но ведь сама императрица велела, чтобы «Наказ» и читали все, и дополняли, и писали о своих соображениях. Бибикову, видимо, желательно прятать книгу под замок для пущей важности.

Ах, если бы книгу издавали не десятками штук, а



тысячами. Тогда бы все читали, и никто не делал из этого тайны. Да и какая тайна, коли депутаты уже прочитали. Игра в тайну.

Он находит нужную страницу и углубляется в чтение.

«Равенство граждан состоит в том, чтобы все подвержены были тем же законам...» В статье 88 императрица наставляла: «Последуем природе, давшей человеку стыд вместо бича». Стыд вместо бича... Он останавливается, чтобы ощутить, как емко сказано.

Да, тирания только кичится своей мощью, но всесилен стыд, карающий человека за жестокость и подлость.

«Хотите предупредить преступление? Сделайте так, чтобы просвещение распространилось между людьми...» Вот отгадка всего! Сделайте так!.. Это к нему царица обращается.

Новиков еще долго сидит, словно впитывая прочитанное, потом прячет книгу и начинает писать...

Чьи-то шаги заставили его поднять голову. Перед ним стоял купец Оглоблин, выступавший сегодня в комиссии с речью. На камзоле у купца сиял значок. Вокруг пирамиды с короной умиленно бежали слова: «Блаженство каждого и всех». Но еще умиленнее светился сам купец.

— Господин держатель дневных записей, разрешите осведомиться?

Купец волновался, правильно ли изложено его мнение. Он, депутат Рыбной слободы, доказывал в своей речи, что заводчикам и купцам первой гильдии нужно разрешить носить шпаги, дабы укрепить достоинство торговых и промышленных людей. Немцы же, видя русского купца без шпаги, оказывают ему пренебрежение, особливо на бирже. Убедившись, что Новиков записал все верно, Оглоблин восхитился и обещал прислать бочонок масла.

— Благодарю, господин купец. Но меня направили сюда из полка, и я состою на военном довольствии, стало быть, в масле не нуждаюсь.

— За труды на благо отечества не возбраняется...

Новиков нетерпеливо прервал его:

— Коли о благе отечества заговорили, лучше ответьте мне: отчего наше купечество уступает в предприимчивости голландцам и гамбургцам? Те бьют китов у наших берегов, ловят рыбу, а русские купцы на печи лежат и о шпагах мечтают. Но сколь выгоды могли бы иметь они, если б взялись за промысел в Северных морях.

Оглоблин побагровел.

— Вы, ваше благородие, бумаги отменно пишете, а в промыслах мало разумения имеете.

— Я имею разумение в том, что вы, купцы, предпочитаете по старинке торговать: салом да пенькой. А ведь весьма прибыльно сбывать можно новые товары: машины, галантерею, книги.

— Слыхано ли — торговать книгами? У нас на всей слободе едва ли две книги наберется: библия да молитвенник. Один мещанин стал много читать, так сошел с ума и разорился. Вот блажь до чего довела!

— Приохотить надо единоземцев наших к чтению.

— Русскому человеку это баловство ни к чему!

Купец презрительно усмехнулся и, не поклонившись, вышел.

Сегодня Оглоблин рассуждал о развитии отечественной коммерции, о «благе каждого и всех», о выполнении наказа императрицы — и вот, пожалуйста, — «русскому человеку это баловство ни к чему»!

«Сделайте так, чтобы просвещение распространилось между людьми...» Он стал быстро писать. Он рассказывал об убогой и скудной деревне Разоренной, в которой побывал недавно, о нищете крестьянской и невежестве, о тиранстве помещиков. Он объяснял государыне, что теми благими законами, которые будут приняты, должно требовать от пахаря и от его господина грамотности и образованности, ибо нищета и невежество одним узлом связаны, и что просвещенный барин не посмеет избивать умного и грамотного мужика.

Но где просвещенные люди? Их по пальцам можно перечесть. И откуда им взяться, если в Москве всего две книжные лавки и нет читальни, а «Московских ведомостей» издается лишь 600 штук.

Ныне наступило то время, в котором неусыпным попечением премудрой императрицы исправляются погрешности наших предков. От невежества граждане российские начинают отвращаться и к просвещению влекутся. Сие устремление надо всемерно поддержать и за-

конодательно закрепить. Коли потребуются государыне верные слуги и ревнители просвещения, то он, Новиков, отстраняя забавы молодости, готов с усердием служить святому делу.

Сонная тишина стыла в зале, перо неудержимо летело по бумаге.

Пусть древнему городу России выпадет высокая честь стать родником просвещения. В Москве можно издавать журнал или основать типографию и торговать книгами, если таковое указание поступит от государыни. Малая денежная ссуда, казною выделенная, укрепит благое начинание.

Он поставил точку и подписался: Николай Новиков, держатель дневных записей. Горестно вздохнул: должность была ничтожная. Подумав, прибавил: унтер-офицер гвардии ее величества Измайловского полка. Чин был еще скромнее... Но ведь Екатерина любит одаривать вниманием и наградой людей неродовитых. Он бы не осмелился обратиться к ее величеству, если бы не помнил о ее просьбе докладывать о неустройстве жизни и дополнять «Наказ» каждому, кто пожелает.

Слова государыни навсегда в его сердце: «Свобода, душа всего, без тебя мертво... Я не хочу рабов... Я хочу, чтобы повиновались законам... Нужно просвещать нацию».

Без просвещения не быть свободе.

Большое собрание гудело от возбуждения. Какой титул поднести бессмертной, дражайшей Екатерине? Как выразить трепетную любовь подданных? Есть ли такие слова?

Слов было много, но в дело годились не все. Можно ли Всесветлейшую, Державнейшую Великую Государыню, Императрицу и Самодержицу Всероссийскую назвать Государыней Всемилостивейшей? Пристал ли ей, например, титул Матери отечества многопопечительной?

Слова были очень хорошие, но выходил следующий депутат и оглушал всех новым предложением. Пусть Государыня украсится титулом Восстановительницы блаженства Российского народа! Разве это не будет справедливо?

Нет, это будет очень справедливо, но ведь есть же слова более емкие, более могучие, более прекрасные.

Конечно, такие слова нашел именно Григорий Орлов, депутат Капорский от дворянства, любимец государыни. Эти слова были: «Великая и Премудрая Мать Отечества».

Страсти улеглись, и с облегчением, словно выполнив большую работу, собрание депутатов решило поднести императрице сей титул.

Блаженный день наступил. Царица торопливо прошла к своему креслу, опустилась в него, хмурясь и кивая по сторонам, и оказалась под своим портретом, на котором изображена ступающей легко и весело, улыбающейся миру светло и ясно.

Маршал Бибиков начал речь. Он рассказывал о великих начинаниях императрицы, о благоденствующем народе, о весенних ветрах новой эпохи, об одушевлении людей всех сословий. Лицо Екатерины было непроницаемо-застывшим. Лишь иногда ноздри нетерпеливо дергались, и тогда резкая складка подсекала нос, придавая лицу что-то хищное, совиное.

Бибиков гремел. Екатерина откидывалась к спинке кресла, прикрывала глаза, скучающе постукивала пальцами по подлокотникам, словно показывая, что слов слишком много и пора заниматься делом.

Бибиков заговорил о том, что российский народ в ознаменование заслуг императрицы жаждет увенчать ее титулом Великой и Премудрой Матери Отечества. Новиков заметил, что царица хотела сделать гримасу недовольства, но нос на сей раз не послушался, и она, чуть улыбаясь, удовлетворенно прикрыла глаза.

Бибиков умолк. Объявили отдых на полчаса. После перерыва в празднично-звенящей тишине перед депутатами вышел канцлер Голицын, чтобы отвечать от имени государыни.

Голицын сказал, что государыня польщена высокой оценкой ее слабых усилий, но принять сей почетный титул не согласна. «В состоянии ли мы, — читал Голицын, — судить о делах правителей во время их жизни? Нет. И посему титул «Великая» принять никак не могу. О делах моих оставляю времени и потомкам беспристрастно судить. Премудрая? Никак себя таковою назвать не могу, ибо один Бог премудр. Что же касается лестного звания «Мать Отечества», замечу: любить богом мне врученных подданных за долг почитаю, а быть любимой ими есть мое желание».

Голицын выговаривал ответ государыни торжественно и внятно, и Екатерина слегка кивала после каждой фразы. Канцлер окончил, императрица низко поклонилась собранию и вышла, оставив зал сраженным монаршей скромностью.

— Ваше сиятельство, Михаил Михайлович, — тихо сказал Новиков, — взгляните.

Щербатов устало, с неудовольствием поднял глаза на Новикова, протянувшего ему бумагу:

— Что это?

— Мои соображения о развитии просвещения в России, особливо в Москве. А также описание путешествия в деревню Разоренную. Ваш опыт и знания, Михаил Михайлович, — краснея, запинаясь, говорил Новиков, — ваш совет...

Щербатов, не отвечая, стал читать.

Новиков, пытаясь унять биение сердца, отошел к окну.

Щербатов хмурился. Наконец он со вздохом отложил письмо.

— Николаша, зачем вам это?

— Не понимаю...

— Вы думаете, что мужик или землевладелец, прочитав ваши книги, станут счастливы?

— Нет, князь. Но без книг они не узнают путь к счастью.

— Вы убеждены, что мы движемся к счастью, а не уходим от него?

— Надеюсь, что движемся...

— Обманываетесь. Мы все дальше и дальше уходим от истины. Исчезает простота и мягкосердечие. Уже нет прежней тихой, смиренной, добронравной России.

— Ее и не было.

— Вы так полагаете? — оскорбленно спросил Щербатов. — Разве не было простоты и мягкосердечия? Разве в прошлом веке государи жили в дворцах? Семь, восемь, десять комнат были помещениями, достаточными для царя. Кушания отличались простотой, телятину и каплунов не употребляли. Соусов, оливков не знали, довольствовались солеными огурцами. Напитки были простые: квас, пиво, меды. Ни шампанских, ни бургундских вин не пили. Свечи только сальные, а теперь всем подавай восковые, да непременно белого воску, а не желтого. Дворянские роды отличались благородной гордостью, добронравием.

— Не было такой России, — с отчаянием сказал Новиков. — Была сонная, грубая Русь.

— Не отрицаю грубоватости тогдашних нравов, однако погони за роскошью не было, — упрямо возразил Щербатов. — Сластолюбие губит теперь людей. Вы предлагаете им знание, а знание развращает нравы, рождает унылых скептиков, насмешливых и злых, которым ничто не дорого.

— Невежество развращает более.

— Не водилось книг, и нравы были лучше. Появились книги — пороки расцвели. Не странно ли?

— Прежде мало пеклись о воспитании души. При Петре Первом больше забот было о геометрии, су-

довождении, военном искусстве. А после смерти великого царя и вовсе дело книжное зачахло.

— Ну дай бог вам удачи, Николаша, — задумчиво произнес Щербатов. — А мне сомнительно. Вот вы на законы новые надеетесь. Исправим ли законами души? Наша святая царица так ли уж свята? Еще недавно государыня поражала всех простотой одежды, ласковостью речей. А ныне? В ее гардеробе тысячи платьев, а речи стали лицемернее.

— Нет, нет! — вскричал Новиков в волнении.

Щербатов усмехнулся.

— Преданность ваша заслуживает похвалы. Но зачем же терять разум?

— Я счастлив, что государыня содействует благу подданных. Готов все силы отдать.

— И жизнь?

— И жизнь, — с вызовом ответил Новиков, уже сердясь на себя и на князя за то, что принудил говорить такие пышные слова.

— Как-то усердный офицер выхвалял свою службу Петру Первому и тоже сказал, что готов за него умереть. Государь отвечал, что сей жертвы не желает. Офицер начал снова утверждать, что готов учинить сие во всякий час. Остроумный монарх, ничего не отвечая, взял его руку, поднес палец офицера к свече и начал его жечь. От боли офицер силился выдернуть руку. «Коли ты не можешь малой боли по желанию царя вытерпеть, — сказал государь, — то как же ты мог щедро обещать все тело свое без нужды пожертвовать?»

— Запомню притчу сию, — отвечал Новиков, — но сейчас речь не о моей жизни... Прошу вас, передайте эту бумагу государыне...

— Коль вы настаиваете, извольте. Но имейте в виду: Комиссии по составлению Уложения недолго, видимо, осталось жить. Не до нее: надобно с турками воевать.

— Как? — побледнел Новиков. — Неужто усилия напрасны?

— Усилий было много, а посему, — хладнокровно и язвительно говорил Щербатов, — от забот законодательных есть намерение отдохнуть. Сегодня бал-маскарад, государыня велела всем быть. Приходите. Если отличитесь на балу — большая удача.

Щербатов вышел, оставив Новикова в полной растерянности.

Он явился без маски. Громадный кавалергард, стоявший у двери, недовольно оглядел его скучный коричневый камзол, презрительно сощурился и мотнул головой, украшенной римским шишаком со страусовыми перьями.

— Не угодно ли пройти наверх? — и протянул полумаску.

Это означало: ты можешь полюбоваться балом издали, но танцевать и веселиться будут другие.

— Извольте, но, если бы вы одолжили мне еще вашу каску, я бы рискнул остаться внизу.

Кавалергард зарычал изумленно, и Новиков, испугавшись собственной дерзости, поспешил по лестнице вверх на хоры.

Блеск шелка, украшений, немыслимые костюмы, трепещущий свет люстр, шарканье ног, смех, возгласы, оглушительное рыданье скрипок — бал обрушился на держателя бумаг лавиной. Новиков облокотился о перила и глянул вниз.

Мало-помалу в сверкающем хаосе он стал различать отдельные фигуры. Большинство было в масках. Только Потемкин с открытым лицом возвышался над толпой Голиафом, да маска на Алексее Орлове была надета так небрежно, что легко узнать героя похода 1762 года. Орлов прохаживался лениво вдоль стен. Стоило ему поманить пальцем, к нему кидалась любая



маска: и индийский раджа, и страшный дракон, и жеманная пастушка, и заморская принцесса.

Веселье разгоралось. Бойче заиграла музыка, из боковой двери выбежал невысокий гусар. Очертания его фигуры были женственно округлыми, наклеенные усы и громадные бакенбарды, скрывая лицо, торчали воинственно. Гусар фамильярно ударил по плечу Орлова, шлепнул по заду дракона, увивающегося за графом, и жестом велел им убираться. Те безропотно повиновались.

Грянула мазурка, и гусар, подцепив молоденькую барыньку, пустился в пляс. Запрыгали драконы, испанские гранды, принцессы, медведи, лисы.



Мазурка кончилась, началось шествие ряженых. Впереди ступал щеголь, гляделся в зеркало, прыскал на себя духами. Щеголя сменил доктор, который, поклонившись публике, прокричал, что нет ничего важнее медицины и что если больные и помирают, то только по самым точным правилам науки, а кто хочет прожить сто лет, должен всегда веселиться. А потом проскакал комедиант и пропел песенку о том, что деньги — это пустяки, смешные черепки, глупые медяки. За ним шли артисты, изображающие скупых, которые жевали сухой хлеб, подозрительно оглядывались по сторонам, боясь, как бы не украли их сундуки, наполненные деньгами. Их скаредность, отталкивающий вид

должны были убедительно доказывать справедливость того, о чем прокричал комедиант. Как глупо сидеть на сундуках с золотом! Надо жить, веселиться!

Гусар с бакенбардами замахал саблею, и вновь все смешалось, забурлило. Надрывались скрипки, метались люди с лицами чудищ и шутов, сыпалась пудра, звенели шпоры — оглушительно раскатывался маскарад.

Новиков отстранился от перил, вышел на лестницу и стал потихоньку спускаться вниз.

Ему осталось несколько ступенек, как вдруг раздались шаги, и Новиков увидел того невысокого, с воинственными бакенбардами гусара, который так уверенно командовал на балу. Гусар бежал за московской барынькой, испуганной его вниманием и пытавшейся спрятаться под лестницей.

— Ах, постойте, — говорил гусар нежным, вкрадчивым голосом, — я хочу досказать свою мысль... Вы поведайте о своих желаниях, а я о своих. Мои желания замыкаются в безделице: быть здоровым, иметь богатство и потом веселиться. А что вы скажете?

— Право, не знаю! — лепетала барынька.

— Ведь только на маскараде и можно быть откровенной, — говорил гусар. — Итак, здоровье, удача, потом радость! И никому ничем не быть обязанным — вот и все мои желания. Ни от кого не зависеть! Ах, это чудесно! Но что же вы молчите?

— Мне дурно...

— Несносно! — топнул ногой гусар. — Отчего вам дурно? Здесь всем должно быть хорошо!

Барынька, охнув, бросилась опрометью прочь. Гусар с досадой повернулся и заметил Новикова, стоявшего на лестнице.

— Что за скучная маска! — пробормотал гусар. Он выхватил игрушечную саблю и уперся ею в грудь Новикова. — Я не люблю скучных масок!

— Увы, господин гусар, эту маску мне подарили ма-

тушка с батюшкой, — отвечал Новиков. — Они не знали, что она выходит из моды.

Гусар озадаченно покрутил саблей.

— Живи! Но впредь не попадайся на моем пути. Ты скучен и, видно, не умеешь играть! А жизнь — игра!

Гусар, взмахнув саблей, кинулся вдогонку за барынькой.

У самых дверей Новиков столкнулся с Щербатовым.

— Ты здесь, в прихожей? Как глупо! — заговорил Щербатов, поднимая с лица маску. — Что за вид? Мой дорогой, коль ты здесь, маска необходима. Музыка для всех одна, и ты должен плясать под эту музыку!

— Вы же мне говорили...

— То, что я тебе говорил, пусть останется за этим порогом.

— Да и мне лучше убраться за этот порог. Какой-то гусар чуть не зарезал...

— Гусар! — вскричал Щербатов. — Ах боже мой, ведь это императрица!

И он уставился на Новикова с ужасом.

Екатерина сидела покойно в кресле и тихо посмеивалась.

— Вы, князь, умрете от длинных речей. Не надо столько говорить. Я верю, что комиссия о среднем роде людей многое сделала.

Щербатов покраснел и смешался. Они сидели напротив императрицы и в некотором удалении: и депутаты комиссии, и держатели дневных записей, ошеломленные близостью к монарху. Государыня ласково улыбнулась.

— Не обижайтесь на меня, князь... Хотите, скажу, от чего я умру?

Щербатов протестующе поднял руку.

— Не волнуйтесь, князь, все мы смертны. Так вот я умру от услужливости. Да, да, уж очень я беспокойная, обо всех пекусь. А князь Потемкин смертью праведни-

ка закончит свои дни... Ха-ха-ха! Графиня Румянцева — тасуя карты...

Екатерина раскисла от смеха. Щербатов осторожно вторил ей.

— Ах, что я разболталась? Ха-ха! Где же мои дела?

Статс-секретарь подал папку. Новиков со страхом следил за руками государыни: она достала его записки.

— Прочла с интересом письмо господина Новикова. Дельные мысли...

Новиков вскочил с места.

— Ах, сядьте... Мне ваше лицо знакомо. Где же я вас видела? — хитро сощурившись, говорила царица.

— Право, не знаю...

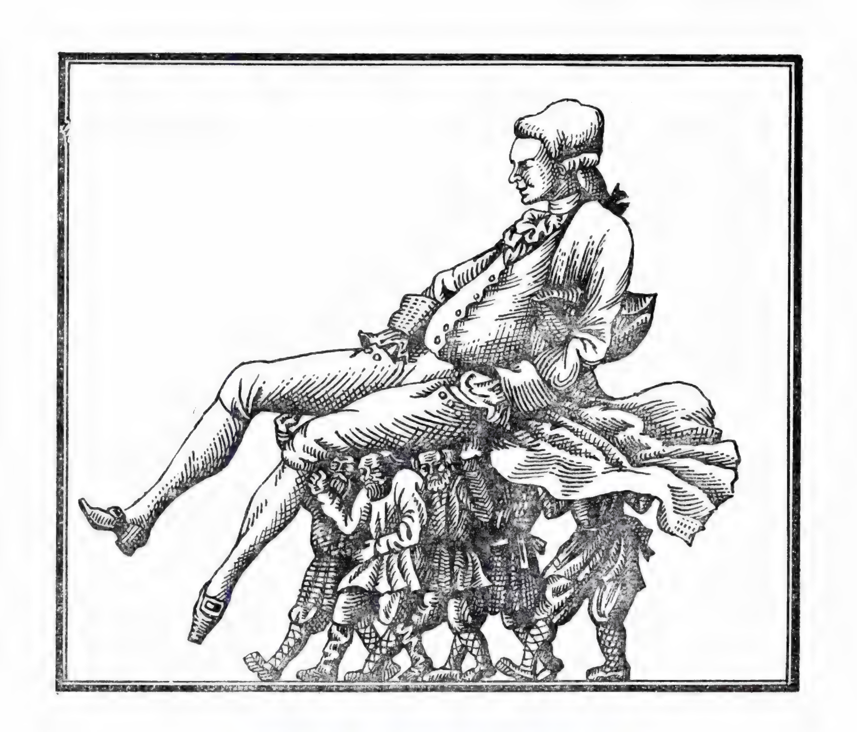
— Во всяком случае, встреча была приятной, коли я помню... Господин Новиков, хочу поддержать ваши благородные стремления. Однако думаю, что просвещение — дело Петра. Москва, город безделья, для сей цели не годится. Дело Петра должно совершаться в городе Петра. Имею сокровенные мысли по сему поводу, но до времени молчу. Спасибо, господин Новиков, за ваши высокие чувства.

Екатерина наклонила голову, подавая знак, что беседа закончена.

Новиков выходил от царицы, не чувствуя пола под ногами.

— Ваше сиятельство, — сказал он Щербатову, счастливо улыбаясь, — сколь много может дать сия правительница России.

— Да, конечно, — ответил князь и печально вздохнул.



СТЫД ВМЕСТО БИЧА

«В 1768 году я от Комиссии уволен и отставлен поручиком», — свидетельствует Новиков.

Он не жалел об отставке. Законодательная комиссия прервала свою работу — началась война с Турцией. Больше депутаты не собирались. Новые законы, не родившись, умирали на пыльных полках.

Служба кончилась, его ждала иная деятельность, полная сомнений и радостей, открытий и разочарований. Он опять, как и прежде, стал новикóм...

Это были неистовые соперницы.

Хлопала дверь в доме напротив, и на крыльце, пятясь задом, появлялась щеголиха в синем платье. В руке у нее была длинная булавка, выдернутая из шиньона. Щеголиха держала булавку как шпагу, обороняясь. А сверху наступала соперница в зеленом платье и тоже угрожала предлинной булавкой. Зеленая делала выпад, синяя бросала оружие и с визгом мчалась по улице, крича: «Извозчик, извозчик!» Зеленая с торжеством втыкала булавку в волосы и загадочно произносила: «И завтра, в Пестренький, ты от меня на четырех поскачешь!»

«Пестреньким» они называли вторник, а понедельник был «Серенький». Мирились они в «Колетца», в среду, когда ехали в маскарад. Очень дружили в «Медный таз», в четверг, и отправлялись вместе в концерт. В «Сайку», в пятницу, уже ворчали друг на друга и в театре сидели порознь. Всю субботу, которую называли «Умойся», они дулись, разъехавшись по домам, а в воскресенье, в «Красное», как ни в чем не бывало с хохотом, визгом и поцелуями мчались на прогулку за город. Но чем веселее случалась воскресная прогулка, тем яростнее была стычка в «Серенький».

Сегодня баталия отзвучала бурно и коротко. Николай Иванович не успел посочувствовать щеголихе в синем, как все стихло, только прогремела коляска, уносившая побежденную. Победительница бросила на выглянувшего Николая Ивановича «гнилой взгляд» и помахала рукой. «Гнилой взгляд» сочинялся непросто: глаза потуплялись, косили, а потом поднимались и смотрели томно. Николай Иванович ответно кланялся.

А потом на сцену являлся обычно сам герой, из-за которого шла война, — Волокита. Часа два он проводил у Щеголихи, а потом, излучая довольство, делал визит Новикову. После шалостей у Щеголихи он любил порассуждать о жизни, но пуще всего интересовался гусем, которого у Николая Ивановича готовили отменно.

— Ну какая же мне польза в науках? — философствовал Волокита, со стоном обсасывая гусиные косточки. Он снисходительно осматривал гостиную, в которой тоже, как и в кабинете, стояли книги в шкафах. — Науками ли побеждают сердца? Науками ли торжествуют над соперниками?

Николай Иванович смотрел на него с веселым любопытством, но помалкивал, и Волокита расходился. Его наука состояла в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, говорить всякие трогающие безделки, вздыхать кстати, хохотать громко, сидеть *разбросану,* иметь приятный вид, *пленяющую* походку. Он не ухаживал за девицами, нет, *он строил дворики,* или *махался,* что означало одно и то же. Сердечной склонности не допускал, ибо это означало *дурачиться по-дедовски,* то есть любить старомодно. «По-нашему надобно любить так, чтобы всегда отстать можно было». Объяснялся в любви следующим образом: «Э! Кстати, сударыня, сказать вам новость? Ведь я влюблен в вас *до дурачества.* Вы своими прелестями так вскружили мне голову, что я *не в своей сижу тарелке».* Щеголиха отвечала по обыкновению: «Шутишь! Ужесть, как славно ты себя *раскрываешь!»* Волокита: *«Беспримерно славно,* сударыня. Я вам говорю *в настоящую, что я дурачусь.* Пусть я не доживу *до медного таза,* ежели говорю неправду!» Щеголиха: «Перестань шутить, ведь неутешно слушать вздор». Волокита лезет целоваться. «Это уж в истинную глупость», — заявляет Щеголиха и подставляет губы. Несколько дней они бывают друг в друга смертельно влюблены (это называется *дурачиться до безумия).* Волокита держит Щеголиху *болванчиком,* пока ему не встретится другая. Тогда он *от первой на четырех ногах скачет, от новой падает и строит дворики.*

— Вот моя наука, — говорил Волокита, отирая салфеткой жирные губы. — Она, без сомнения, важнее всех наук, и я ее знаю в совершенстве.

— Стало быть, — почтительно замечал Николай Иванович, — вас можно назвать академиком сей науки?

— Извольте, — соглашался Волокита.

— И, стало быть, звание академика вам лестно?.. Значит, науки не так уж не уважаются вами?

— Хм, — тянет Волокита. — Если вы меня назовете фельдмаршалом, я тоже не против. Ведь любовь та же война.

Сегодня Волокита не пришел.

Николай Иванович снова присел к столу, на котором лежало чисто переписанное предисловие к журналу. Тельце у новорожденного есть, и голосок прорезался, а вот имени нет. Хитро назвала императрица свой журнал — «Всякая всячина». Правда, имя государыни скрыто. Известно, что журнал издает статс-секретарь Екатерины Григорий Васильевич Козицкий, а государыня втайне пописывает. «Всякая всячина» нарекла себя прабабкой всех журналов, ожидая, что появятся внуки. Ну что ж, у доброй и веселой бабушки и внуки должны быть смышленые... Как же назвать?

— Николай Иванович! Николай Иванович, гляньте! — В кабинет сунулся испуганный слуга. — В Фалалея бес вселился! В бане парился, а теперь на крыше шестом машет.

Фалалея, дворянского недоросля, Новиков пытался обучить типографскому ремеслу. Парень был бойким, и от него всяких чудес можно было ожидать.

Николай Иванович выбежал во дворик и остановился. На фоне синего неба антично чеканилась фигура подростка. Упруго играли напруженные мышцы. Вдохновением горело лицо.

Белый вихрь кружил над домами. Не выдержала душа голубятника: из баньки увидел стаю голубей — и вмиг на крышу!

— Фалалей! — укоризненно сказал Николай Иванович. — Красоту-то прикрой!

Фалалей положил шест и отер лицо, которое было потным, несмотря на холодный ветер с Невы.

— Щеголиха у окна сидит, — продолжал Николай Иванович. — И на тебя глазеет.

Фалалея как ветром сдуло с крыши: он промчался мимо Новикова и нырнул в баньку. Оттуда послышались кряхтение и шлепки.

Через час, розовый, лоснящийся, он сидел за обедом, не торопясь черпал ложкой, готовый слушать наставления Николая Ивановича. Но тот долго помалкивал, потом, отодвинув тарелку, спросил об учителе-французе:

— Отчего твоего шевалье не видно? Что-то не нравится мне он.

— Морис веселый, на голубятню я с ним лазил, — возразил Фалалей. — Хотел он моему Дениске, самому лучшему голубю, голову открутить... Жирный, говорит! Вкусный! Я по роже Мориске смазал. Он драться полез. Славно повозились.

— Обидел, выходит, учителя.

— Не... Мы потом астрономией занимались. Я его уж знакам Зодиака научил по часам.

И Фалалей указал на английские часы «Кларк», где малая стрелка передвигалась по Зодиаку, указывая месяцы.

— Теперь шевалье учен!

— Отрадно, — невозмутимо сказал Николай Иванович, — а что арифметика?

— И арифметика хорошо, — отвечал Фалалей. — Мы с ним в карты играли, он меня обсчитать никак не мог.

— Щеголиха в таких случаях говорит «беспримерно», — еще протяжнее сказал Николай Иванович. — Где ж шевалье Менсонж? * Хочу потолковать с ним.

— Может, в Москву уехал? — почесал ухо Фалалей. — Надо, говорит, повидать Россию.

---

* Mensonge — ложь (*франц.*).

— В географии, значит, решил укрепиться... Ах, прохвост!

После обеда Николай Иванович сел на извозчика и поехал к Струйскому, который рекомендовал ему шевалье Мориса, человека, по его словам, достойнейшего, к тому же обладателя замка во Франции.

— Друг мой! — восхищенно закричал Струйский, увидев Новикова. — Я написал чудесные стихи. Послушайте!

Он торжественно усадил Николая Ивановича в кресло, высокое, как трон, вытянул свиток бумаги из-за розового шелкового кушака, которым подпоясывался, отставил ногу, обтянутую белым чулком и обутую в туфлю с бантиком, откинул голову с привязанной длинной прусскою косою и стал читать посвящение государыне:

Доколь мне мысль моя сладка и служит верно,
Хочу Минерве вновь я жертву принести.
Со трона мечет гром Богиня! Беспримерно!
Тщась злобу здесь разить, к блаженству нас вести.

— О, вы поэт изрядный, — заметил Николай Иванович.

— Ах, дорогой мой, послушайте еще.

Он присел рядом на сафьяновый стульчик и грустно опустил голову.

Летали пчелки над цветами,
Сбирая сладостную дань.
И думал я, идя лугами,
Тянув навстречу пчелкам длань.
Мы — трутни, не дано нам
Сбирать пыльцу, творить нектар.
Мы — трутни... Но дано нам
Съедать добытый вами дар!

— Превосходно! — вскричал Новиков. — Мы — трутни! Отлично! У Сумарокова есть строки: «Они работают, а вы их труд ядите!» Как знаменательно, что ваши мысли перекликаются.

— Мне известна поэзия Сумарокова, — сказал Струйский холодно, — но я иду своим путем!

— Подарите мне слово «трутень». Оно мне очень пригодится.

— Берите! — недоуменно пожал плечами Струйский. — Но скажите, вам действительно понравились мои вирши?

— Да, в них есть нечто. — Новиков покрутил пальцами над головой.

— Да, да! — Струйский снова загорелся. — Я чувствую парение слов. Но как мучительно дается это парение! Я неделю не сплю, не ем, ищу нужное слово. Я никого тогда не замечаю.

— Кстати, не заметили ли вы нашего друга шевалье Мориса?

— Он теперь служит парикмахером у графа Безбородко.

— Птица высокого полета.

— Образованнейший человек! Так прекрасно владеет французским!

— Он ведь француз...

— Он и в других науках осведомлен.

— Особенно в астрономии, и уже знает Зодиак на моих часах.

— Вы шутите! Шевалье аристократ. В нем столько легкости и изящества!

Николай Иванович понял, что ничего уже не добьется, и стал откланиваться.

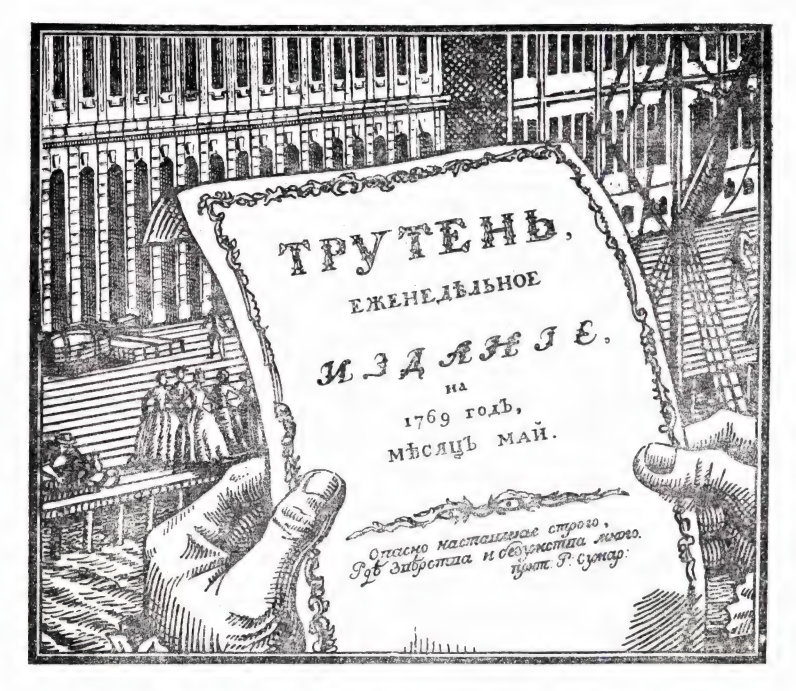
— Нет, нет! Я должен вас угостить за добрый отзыв. Я покажу вам презабавное позорище. Федька! Степка!

Он хлопнул в ладоши. Явились два ухмыляющихся балбеса.

— Ну, Степка, наподдай-ка ему! — обратился к одному из них Струйский. — Награжу! Вот рюмка водки.

И Струйский налил светлой жидкости в большой бокал. Балбесы вцепились друг другу в волосы.

— Эх, Федька! Не трусь! Борись как лев! Ну, ну!



Николай Иванович решительно пошел к двери.

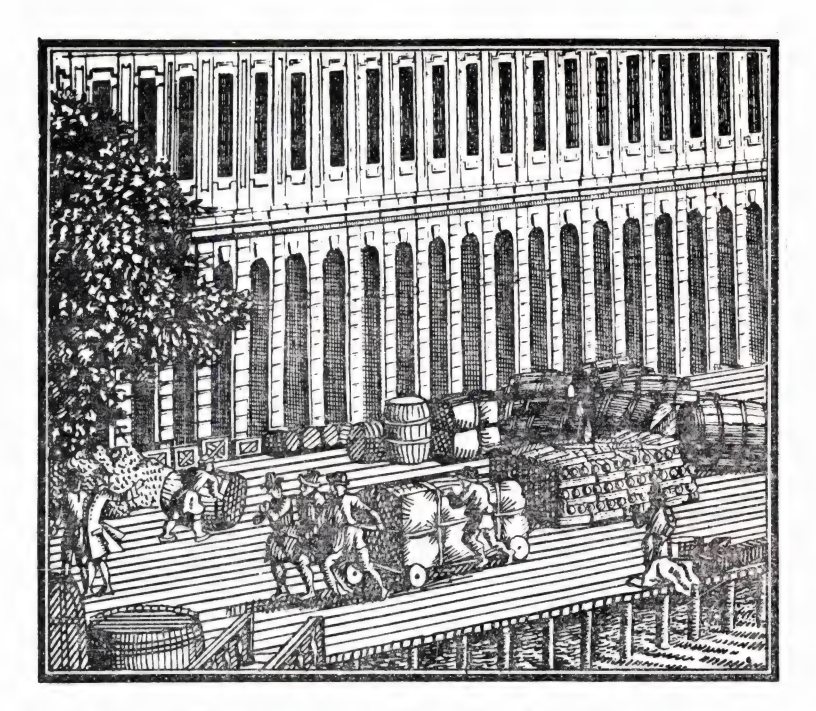
— Куда же вы?

Струйский догнал его и стал совать в лицо типографские оттиски.

— Ведь мы с вами делаем одно дело. Я тоже издатель. У меня в деревне, в Рузаевке, собственная типография. Вот взгляните!

Николай Иванович посмотрел на оттиски. На одном из них была изображена богиня мудрости Минерва, сидящая на облаке. Ногами богиня (читай — Екатерина II) попирала разных негодных людишек: неправедных судей, мздоимцев, тупых обжор.

— Россия очень отстала. Нам с вами надо просве-



щать людей! — произнес Струйский. — Другого пути нет!

Николай Иванович наклонил голову и вышел.

В одном из первых номеров новоиспеченного журнала «Трутень» появилось сообщение: «На сих днях в Кронштадт прибыл из Бордо корабль, на коем привезены 24 француза, сказывающие о себе, что они все бароны, шевалье, маркизы и графы и что, будучи несчастливы в своем отечестве по разным делам, касавшимся до чести их, приведены были до такой крайности, что для приобретения золота вместо Америки принуждены ехать в Россию. Многие из них в превеликой ссоре с парижской полициею. Они немедленно выбрались из Парижа,

чтобы не обедать, ужинать и ночевать в Бастилии. В Петербурге они намерены вступить в должности учителей и гофмейстеров. Любезные сограждане, спешите нанимать сих чужестранцев для воспитания ваших детей! Поручайте немедленно будущую подпору государства сим побродягам и думайте, что вы исполнили долг родительский, когда наняли в учители французов, не узнав прежде ни знаний их, ни поведения».

И второе объявление: «Плоды невежества, глупости и самолюбия некоторого сочинителя продаются в его доме повольною ценой».

И приписка: «Кто может сказать на рифмах: байка, лайка, фуфайка, тот уж печатает оды, трагедии, элегии, которые полезно читать тому, кто принимал рвотное, и оно не подействовало. Развелось стихомарателей как крапивы в пустом саду! Не подьячих, а вот кого бы звать «крапивным семенем».

— Кто издатель сего? — говорила императрица, брезгливо переворачивая листы журнала.

— Николай Иванович Новиков, — ответствовал статс-секретарь Василий Григорьевич Козицкий. — Отставной поручик, ранее служил в Комиссии по Уложению.

— Знаю. Такой... мм, с длинным носом.

— С длинным, ваше величество.

— Нос-то длинный, а вот того, что журнал его дурно пахнет, не различает. Читала со вниманием. Намеки на почтенного поэта... И что за язык! Вот: «Отцовское-то имение у тебя стрень-брень с горошком». Что за подлые выражения? Ну что такое стрень-брень с горошком?

— Затрудняюсь, ваше величество.

— Почему же я должна голову ломать?

— Я полагаю, ваше величество, это означает: имение неважное, плохое... стрень-брень.

— Ну так и надо сказать — плохое. Ясное русское

слово. Я сама люблю острое русское слово, но это... стрень-брень... да еще с горошком.

Екатерина недовольно отодвинула «Трутень».

— Нельзя оставлять без внимания. Скучно и зло! Надо написать, что прабабка «Всякая всячина» не любит меланхоличных писем. По журналу видно, что его волнуют только пороки. Но кто видит только пороки, не имея любви, тот не способен подавать наставления другому. Напишите это. «Никогда не называть слабости пороком, хранить во всех случаях человеколюбие, не думать, чтоб людей совершенных найти можно было. Никому не думать, что он один весь свет может исправить».

— Прекрасно, ваше величество, мы напечатаем это наставление в нашей «Всякой всячине». Но как бы это ловчее подписать?

— А подпишите так: Афиноген Перочинов. Ха-ха! Афиноген, не правда ли, смешно?

— Очень смешно, ваше величество.

Екатерина сияла довольством.

— Не жалить, а кротостью, снисхождением исправлять нравы. «Трутень»? Ну не глупо ли? Жужжит, жалит, противное насекомое, хочется отмахнуться... Гораздо лучше звучит «Всякая всячина», любезнее, милее.

— Есть еще хорошие названия у других журналов, — вставил Козицкий. — «Ни то, ни се», «И то, и се», «Полезное с приятным».

— Да, лукаво и мило... Ничего, мы посмеемся над этим злым господинчиком.

Она ласково улыбнулась Козицкому и вышла из комнаты.

Фалалей явился перемазанным в пыли, в крови. Подрался с Волокитой из-за куска жареного мяса: в день именин великого князя туша быка выставлялась на площади перед дворцом, и всяк, кто ловок, мог обогнать соседа и отхватить кусок пожирнее, а то и рога.

— Волокита поклялся Щеголихе кусок принести, а добыл я! — похвастался Фалалей. — Теперь она меня любит, а не Волокиту.

— Теперь она тебя болванчиком сделает.

— Зато весело.

— Беспримерно весело.

— А вот Щеголиха говорит, что вы скучно живете... как монах в келье.

Николай Иванович растерянно улыбнулся.

— Веселья мало, но скучать не скучаю.

— Мне матушка Акулина Сидоровна из деревни пишет: «Веселись, мой друг, в твоих летах надо забавляться, придет такая пора, что и веселье на ум не пойдет». Так и надо жить, а вы все о добродетелях беспокоитесь. А много ли толку от добродетелей? Вот, — Фалалей поднял два сжатых кулака, — в одном деньги, а в другом добродетели. Что возьмете?

— Что?.. Сначала я тебе сказку расскажу... Велел Юпитер Аполлону помочь людям. Послал Аполлон на землю семь муз, а у каждой на плече по ящику: в одном спрятан разум, в другом — добродетель, в третьем — здравие, в четвертом — долгоденствие, в пятом — увеселение. Шестая несла честь, а последняя наполнила ящик златом. И попали музы в город на ярмарку.

Узнав, что у первой музы в ящике разум, таможенное начальство распорядилось выгнать музу из города. Начальники, по их убеждению, имели довольно разума, а гражданам оный был бы бесполезен.

Добродетель никто не купил... Товар не в моде. Иные почитают добродетель чересчур ветхой и даже смешной.

— Зато все схватили ящик со здравием? — догадался Фалалей.

— Нет, люди кричали: «Сия глупая женщина предписывает для здравия простую пищу, любовь семейную и ключевую воду!» Они покинули музу и убежали к базарному лекарю, шарлатану, который лечил пустыми порошками.

За долгоденствием устремились все — больные и здоровые. Предлагали большие деньги. «Вы будете сожалеть о своих деньгах, — отвечала им четвертая муза, — если не приобретете у моих сестер разума, добродетели и здравия». Тогда стали люди искать ее сестер, а их уже и след простыл.

С превеликой жадностью рвали люди увеселения.

И за шестой музой бросился народ, за честью. Случились драка и убийство. Подоспела стража и защитила музу. Улучив момент, муза незаметно вынула из ящика истинную честь и наполнила его пустыми титулами. Сие учинив, муза вскричала: «О люди, будьте скромны и ведайте, что истинная честь сама к вам придет». Однако, не слушая ее, люди, оттолкнув стражу, снова бросились к ящику и сражались меж собою, не щадя жизни, за пустые титулы. Тогда муза покинула город.

У городских ворот она увидела лежащую без чувств свою сестру, которая несла деньги. Умирающая, придя в себя, рассказала: «Никогда не могла вообразить я, чтобы человеки столь безумны были. Представь тысячу волков, томимых голодом восемь дней. И вот между ними оказался человек, несущий ягненка на плече — так и я с моим денежным ящиком. Лишь только я в городские ворота вошла и сказала, что деньги несу и хочу давать их нуждающимся, вмиг меня тьма людей накрыла. Опустошив ящик, они сорвали с меня одежду, рыскали в карманах. Начали друг у друга отнимать, и кто больше денег захватил, тот больше увечий получил».

Боги, узнав, как люди алчно ищут увеселений, чести, богатства, твердо положили жаловать ими тех, кои имеют разум и добродетель. Но не знаю, исполнен ли сей приговор?

Фалалей, почесывая за ухом, высказался:

— Чего же ваша сказка без конца? А где же восьмая муза, которая книги несла. В них и разум, и добродетель, и честь, и здоровье, и долгоденствие, и денежки!

— Это уже будет другая сказка, и нам ее с тобой складывать...

Вечерний сумрак вполз в комнаты, но они не зажигали огня. Вдруг Фалалей шепотом сказал:

— У матушки в поместье я собак казнил, которые худо за зайцем гоняли. Прямо на дубе вешал. И охотников порол, чьи собаки моих обгоняли. Вот какой я, а вы меня все воспитываете, сказки рассказываете...

Николай Иванович улыбался в темноте: таких речей еще не заводил Фалалей.

Недоросль ушел, и Новиков принялся за работу.

Прабабка журнальная гневалась на него. Она пеняла на то, что Трутень очень злой и слабости человеческие пороками называет. Трутню надо лечиться, дабы «черные пары и желчь не оказывались на бумаге, до которой он дотрагивается».

Что же так рассердило «Всякую всячину»? В прошлом номере были напечатаны рецепты. Безрассуду, который кичится своей дворянской породой, Николай Иванович советовал «рассматривать всякий день кости господские и крестьянские до тех пор, покуда найдет различие между господином и крестьянином». О неправедном судье дал объявление: «Некоторому судье потребно самой свежей и чистой совести до нескольких фунтов. Старая перегорела от виноградного и хлебного вина, коим челобитчики угощали».

«Всякая всячина» особенно гневается, когда «Трутень» на неправосудие нападает: «На ругательства, напечатанные в «Трутне», мы ответствовать не хотим, уничтожая оные!»

Уничтожая оные! Николай Иванович схватил перо и написал: «Не понравилось мне первое правило упомянутой госпожи не называть слабости пороком. Я не знаю, что, по мнению сей госпожи, значит слабость. Любить деньги есть слабость, но простительно ли слабому человеку брать взятки? Пьянствовать также слабость,

однако пьяному можно жену и детей прибить до полусмерти и подраться с верным своим другом...

Госпожа «Всякая всячина» наши нравоучительные рассуждения называет ругательствами. Но теперь вижу, что она меньше виновата, нежели я думал. Вся ее вина состоит в том, что она на русском языке изъясняться не умеет и русских писателей обстоятельно разуметь не может...»

Он остановился дрогнув: не слишком ли разлетелось перо? Не следует забывать, что во «Всякой всячине» царица пописывает. Он вздохнул, словно вступал в обжигающе-холодную воду, и решительно отмахал еще строки: «Госпожа «Всякая всячина» написала, что пятый лист «Трутня» уничтожает. И это как-то сказано не по-русски: уничтожить, то есть в ничто превратить, есть слово, самовластью свойственное...»

— Ха-ха! Вот как: по-русски изъяснить не умеет, — говорила Екатерина, щурясь, как будто написанное кололо ей глаза. — Меня, немку, задеть хочет! Ваши укусы, господин Трутень, не сильнее блошиных. Никто в России не скажет, что я власть во зло употребила.

Она перебирала листы «Трутня» и посмеивалась благодушно. Сегодня она получила письмо от Вольтера, в коем знаменитый француз восхищался ее терпимостью и человеколюбием. Оттого настроение было отменным.

— Однако и «Всякая всячина» бестолково написала. Надо Козицкому указать.

Она сладко потянулась. Пламя свечей заколебалось, блики скользнули по тяжелым складкам голубоватого платья и растворились в полумраке комнаты. Ей нравился этот голубоватый цвет: холодный и чистый. Она любила вечерние часы покоя и ожидания. Мысли приходят легкие и значительные, и так приятно их класть на бумагу в назидание современникам и потомкам.

Нет, не на дворцовых приемах, балах и празднествах она — царица. Не в блеске дворцовой мишуры, а

здесь, в покое, где царит ее мысль, где склоняются перед ней самые умные мужи России. И не только России... Вольтер, Дидро, Д'Аламбер — самые просвещенные люди Европы.

В дверь стукнули осторожно, условленно. Она радостно отозвалась. На пороге высилась могучая фигура светлейшего князя Потемкина.

— Что-то вы, ваше сиятельство, не торопитесь.

— Матушка, летел на крыльях, — отвечал Потемкин лениво.

Ох и лентяй светлейший князь! Красив и умен как лев, но движения лишнего не сделает.

— Не поверю, что ты можешь в небо взлететь, Гришенька. Тяжел стал...

— Матушка, родная, с небом осторожно обращаться нужно. На днях читывал записки покойного генерал-лейтенанта Василия Александровича Нащокина о смерти профессора Рихмана от небесной молнии, когда он гром и молнию старался машиной удержать. Будто бы для спасения людей. А было по-другому: орел, паря в небесах, держал в когтях черепаху и искал камение, о которое оную черепаху разбить хотел. Увидел он Рихманову голову лысую, уронил черепаху на ту главу и разбил оную. Вот как дело было, а не оттого, что молния его сразила.

— Ха-ха! Выдумщик!

— Никакой выдумки. Точно записано. И еще славная сказка: пишет Нащокин о поимке морской женщины — сирены. На острове Морсо в Ютландии поймали рыбаки морское чудовище: сверху походит на человека, а снизу на рыбу. Цвет желто-бледный, глаза затворены, на голове волосы черные, а руки заросли между пальцами кожей, как гусиные лапы. Всю сеть изорвали, пока тащили. Тамошние жители сделали чрезвычайную бочку и, налив ее соленой водой, морскую женщину туда посадили.

— А что потом? — спросила Екатерина боязливо.

— О дальнейшем в записках умолчено.

— А может, это морская царица, а ее в бочку?

— Бывает, и цари в темницу попадают.

Екатерина вздрогнула: неужели на убийство несчастного узника Шлиссельбурга Иоанна Антоновича намекает? Но ведь не она приказала убить его. Бывшего императора заколола охрана, когда его пытался освободить офицер Мирович. Лицо светлейшего было безмятежно-расслабленным и не угрожало намеком.

Екатерина успокоилась и продолжала болтовню.

— Ты вот о чудищах заморских рассказываешь, а у меня свое завелось.

— Кто же?

— Трутень, жужжит, жалится.

— Ну какое же это чудище? Весельчак...

— Чем же тебе это веселие понравилось?

— Шутки соленые, матушка, недурные.

— А я вот его сатиры не понимаю. Все насмешки в лицо, все про личности, без уважения, без такта. Его все пороки манят. Почему бы сему сочинителю не показать красоту добродетельного и непорочного человека? Ведь сколько их вокруг меня каждый день! И какой славный способ исправлять слабости человеческие! Рассказать, к примеру, о человеке добронравном, блюстителе веры, искреннем друге, верном хранителе слова.

— Ах, матушка, — поморщился Потемкин, — сахарно ведь очень. Насмешка полезна.

— Ты меня, видно, за круглую дуру почитаешь? Разве я не люблю шутку? Вот погоди, скоро я комедию для театра напишу...

— Матушка, обрадуешь нас беспримерно! — клятвенно приложил руку к груди Потемкин.

— Какой ты, однако, угодник!

— Матушка, никогда сим рыцарем не был.

— Знаю, Гришенька, знаю, — со вздохом говорила государыня. — Знаю, что не угодник, оттого и люблю.

Потемкин растроганно прижал к груди обе руки.

— А если хочешь, сделай по Трутню бомбардирование. Пусть твоя «Всякая всячина» постарается. Вот потеха-то будет!

— Гришенька, — нежно сказала царица...

Сегодня, в «Пестренький», не работалось. Весть, которую принес слуга, ошеломила: пятидесятилетняя Франтиха стала «болванчиком» у Волокиты. Тот победительно гарцует, а Щеголиха проливает слезы.

Он видел Франтиху с Волокитой, когда они прогуливались по улице. На голове у Франтихи многоэтажная прическа — причудливый замок: витки волос башнями, трубами уходят в поднебесье. Эта прическа называлась «шишак Минервы» в честь государыни, и Волокита торжественно шел, выпятив грудь, гордясь не столько своей победой, сколько прической спутницы.

Ну что ж, коли Щеголиха с Волокитой стали героями «Трутня», то почему бы и Франтихе в ту галерею не попасть? Он стал писать для журнала ее портрет: «О ты, которая, будучи пятидесяти лет, стараешься казаться осьмнадцатилетнею. Не пора ли тебе, сударыня, образумиться и не делать из себя, с позволения сказать, смешной дуры...»

День был пестреньким. После обеда явился дядюшка Фалалея, на днях прибывший из деревни. Разглядывая книжные полки, неодобрительно вертел носом: книги пахли душно, тяжело — то ли дело у него в имении славно пахнет псиной. Допрашивал, почему Николай Иванович не служит, и опять недовольно качал головой. Узнав, что Фалалей книгопечатанию учится, дядюшка совсем рассердился: «Пустое дело! Добро б ты немец какой был, а то православный» Он кликнул Фалалея и велел ему собираться в деревню. Убеждал, что в деревне можно жить припеваючи. Не воровством капиталец сколотить — нет, а, во-первых, акциденцией (то бишь взятками) и, во-вторых, утайкой, похищением казенного интереса. У кого же и взять, как не у царя:

дом у него полная чаша, хоть и присвоишь, в казне не убудет. Значит, и воровством назвать нельзя.

Фалалей переминался с ноги на ногу, глядел на дядюшку, у которого в руках был ящик со златом, вздыхал, чесал за ухом, выбирал свою музу. И сказал: нет.

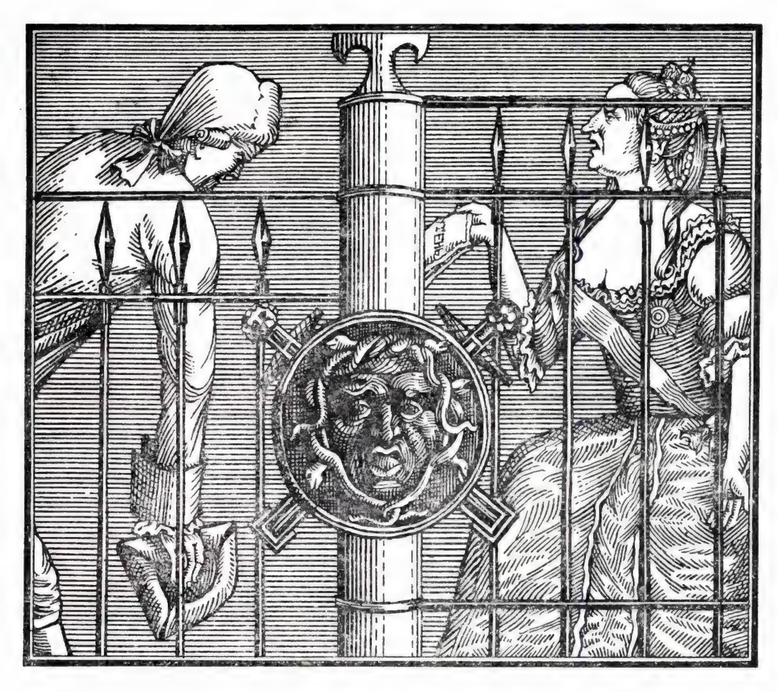
«Парня околдовал!» — вскипел дядюшка и пригрозил Новикову тяжбой. На это Николай Иванович заметил, что дядюшка славно высказался — прямо для сатирических листов. Дядюшка раскрыл было рот, чтобы крепко выбранить колдуна, но сообразил, что брань его тоже будет увековечена сатирическими листами, гневно стукнул палкой об пол и поспешил ретироваться.

— Козицкого! — кричала в ярости императрица, идя по аллее Летнего сада. Было тихо, только ее любимая собачка на кого-то тявкала невдалеке. На скамье остался отброшенный «Трутень», где она прочитала портрет, в котором ей почудился намек: «О ты, которая, будучи пятидесяти лет, стараешься казаться осьмнадцатилетнею. Не пора ли тебе, сударыня, образумиться и не делать из себя, с позволения сказать, смешной дуры... Оставь неприличное тебе жеманство, брось румяны, белилы, порошки, умыванье и сурмилы. Храни, по крайней мере, хотя бы в старости своей благопристойность, которой ты в молодости хранить не умела, и утешай себя напоминанием прошедших своих приключений...»

Она повернула снова и побежала в сторону реки. На ее зов никто не появлялся.

Екатерина прошла вдоль решетки сада и мимо домика Петра I, где любила гулять, думая о себе как о преемнице великого царя. Веселый ветер с Невы посвистывал в оголенных ветвях деревьев, освежал и успокаивал.

Вздор! Почему изображена именно она? Будто нет других пятидесятилетних кокеток. Ей же нет пятидесяти. Не такой уж Трутень злой, чтобы преследовать бедную вдову.



Подступила привычная жалость к себе. Она становилась в своем воображении очень одинокой женщиной, которую забросили в чужую страну, выдали замуж за полуидиота и запретили даже плакать в тот момент, когда умер ее отец, принц Цербтский, запретили, потому что отец-де не был королем и потеря, мол, невелика. Она вспомнила те унижения, которым подвергалась от императрицы Елизаветы Петровны и от вечно пьяного мужа.

Она привычно и с удовольствием всплакнула, забыв, что тогда она твердо решилась вытерпеть все унижения, грубости, насмешки ради русской короны.

Слезы успокаивали, и она пошла тише, снова села

на скамью и взяла в руки возмутивший ее журнал. Чего только не пишет этот «Трутень»: и неограниченное самолюбие (читай — самовластие!) высмеивает, и колет «Всякую всячину» за ее правила, и на неправосудие нападает.

Неправосудие! Она со всем готова смириться. Пусть даже над пятидесятилетней кокеткой смеется! Пусть, если у него нет такта и жалости. Пусть смеется над неправедными судьями. Но доказывать, что у нас нет правосудия, она не позволит! Столько сделано для исправления законов! Она бы отшлепала этого трутневского Правдолюбова, Чистосердова, Н. Н., Вашего слугу — как он еще называет себя. Она бы... Ох, эта глупая «Всякая всячина», толком не умеет ответить ругателю! Этот Козицкий неловок, нуден!

Послышались шаги. Она повернулась. Перед ней стоял со смиренным видом Козицкий.

— Ну, госпожа бумагомарательница «Всякая всячина», каково поживаете?

Козицкий молчал.

— Лучше бы сеяли, пахали, собирали плоды земные. И то дело бы было! Плести неловкие словеса много ль ума надо?

Козицкий не отвечал. Когда «Всякую всячину» хвалили при дворе, лавры доставались императрице. А как «Трутень» шишек «Всякой всячине» наставил, то вина его, издателя.

— Ели бы вы кашу да оставили людей в покое. Ведь и профессора Рихмана гром бы не убил, если бы он сидел за щами и не вздумал шутить с небом!

Екатерина взяла в руки «Трутень».

— Вот Чистосердов что пишет: «Были на Руси сатирики, и тем рога посломали...» «В старые времена послали бы его... (сатирика, стало быть!) потрудиться для пользы государственной... описывать нравы какого ни на есть царства русского владения, но нынче де дали волю писать и пересмехать знатных, и за такие сатиры

не наказывают...» А я вот написала в ответ: «Есть у нас молодчики молодые, которые становятся перед старшими и сим места не дают. В наших краях прежде смертию казнили тех, кои малейшее непочтение доказывают старикам». Вот как я!

— Прекрасно, ваше величество! — молвил Козицкий. — Так и напечатаем.

— Нет! — крикнула Екатерина. — Нет!

Она торжественно разорвала листок, с которого читала, и бросила клочки в разные стороны.

— Не могу доверить сего в слабые руки! Неумелому изданию конец. Выходит, не судьба «Всякой всячине» жить!

Императрица выпрямилась, побледнев от ярости. Рушилась ее затея мягко и вольно говорить с читателем. О жестокие люди, вы можете только рвать и кусать ближнего! Вы не можете добродушно и снисходительно беседовать друг с другом!

— Черт бы вас всех подрал!

Она вскочила со скамьи и бросилась по направлению к Зимнему дворцу.

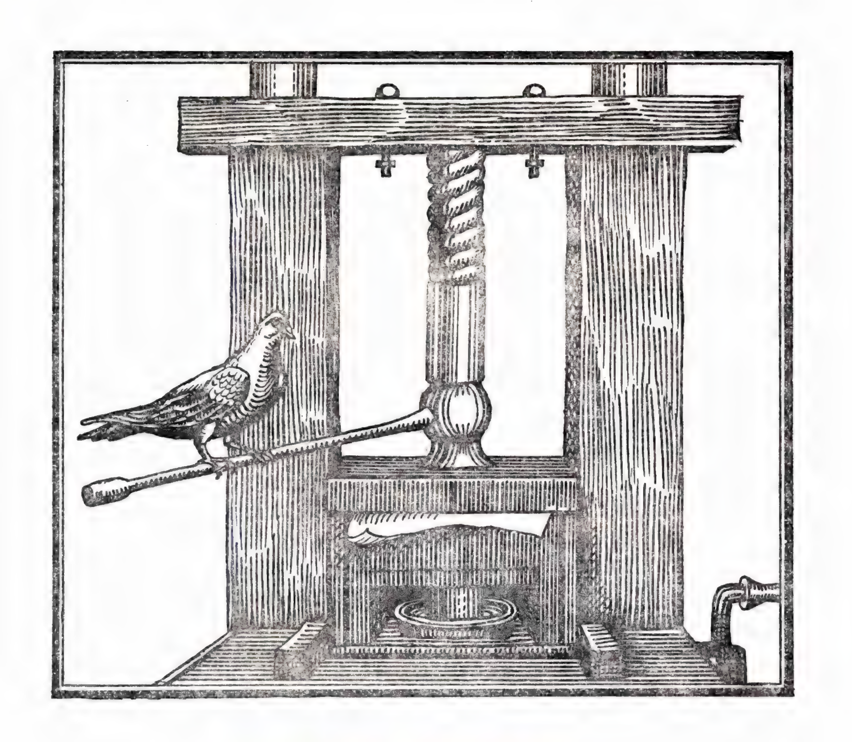
Козицкий поднял «Трутень» и потерянно побрел по аллее.

«Всякая всячина» скончалась.

— Ах бедный Трутень! — сказала Щеголиха, повстречавши Николая Ивановича. — Не умри и ты, многие видят в тебе смертельные признаки! Береги себя, не простудись: нынче еще погода не очень хороша.

Николай Иванович долго сидел в кабинете не двигаясь. Ясно, что и «Трутню» конец: нельзя выходить в свет, коли прабабка не желает жить. Два года каждую неделю «Трутень» рождался тысячью экземплярами, и вот весна 1770 года оказалась последней...

Он просидел целый день, написал расставание с читателем и объявление о закрытии журнала, а потом сломал перо пополам.



ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

Журнал «Живописец», который начал выпускать Н. И. Новиков, не просуществовал и двух лет. Екатерина снова недовольна — издатель много пишет о крестьянских страданиях, о произволе помещиков, а тут Пугачев поднял бунт на далекой реке Яик...

Тяжелые дни наступили для Новикова. Поддержку и утешение он ищет в тайных ложах масонов. Возникшие в Англии в начале XVIII века, религиозно-нравственные масонские общества распространились затем по всей Европе. Воспользовавшись для объединения

средневековой формой организации цеха каменщиков, масоны проповедовали идеи нравственного усовершенствования, всемирного братства, любви к ближнему. Но единства масоны не достигли. Для одних это была великосветская игра, другие преследовали политические цели, третьи искренне жаждали братства, служения обществу.

Генеральный визитатор глядел строго, но спросил ласково:

— Зачем ты пришел к нам?

В углу комнаты горела одинокая свеча, укрепленная на высоком подсвечнике. Блики вспыхивали на медном треугольнике, висящем на лиловой ленте, которая охватывала шею генерального визитатора. Сверкал в его руках металлический циркуль. Неясно из мрака выступали лежащие на столе череп и скрещенные кости.

Новиков пытался приблизиться к столу, чтобы было удобнее говорить, но надзиратель, стоящий у дверей, шагнул навстречу, угрожающе подняв обнаженную шпагу. Новиков остановился.

— Говори! — сказал генеральный визитатор.

Новиков молчал. Мешали не череп, не обнаженная шпага, а надменно прищуренные глаза надзирателя.

— Выйди! — вдруг догадавшись, сказал генеральный визитатор надзирателю. Тот недовольно опустил глаза, но вышел. Генеральный визитатор улыбнулся.

Эта улыбка ободрила Новикова. Он заговорил:

— Бывают дни, когда я сомневаюсь в смысле жизни. Надо возводить здание света, но временами я испытываю томление духа и усталость, молоток падает из рук. Граф сказал мне...

— Здесь братья. Нет ни князей, ни графов, — сухо прервал генеральный визитатор. — Мы вольные каменщики. Мое звание визитатора как главы масонской ложи пусть тебя не смущает.

— Простите! — растерянно сказал Новиков.

— Мы строим храм мудрости, храм добра и справедливости.

Голос генерального визитатора креп.

— Масонство видит во всех людях братьев, которым оно открывает свой храм, чтобы освободить их от предрассудков и религиозных заблуждений. Оно побуждает людей к взаимной любви и помощи.

— Да, да! — взволнованно повторил Новиков. — Только в братстве есть смысл жизни.

— Масоны стремятся уничтожить нетерпимость и суеверие, они хотят, чтобы все люди свободно и полно развивались, чтобы человеческий род соединился в одно семейство, связанное узами любви, познания и труда.

Николай Иванович уже плохо различал генерального визитатора. От волнения шумело в голове, и голос визитатора отдалялся и звучал как небесный.

— Да, да! — повторял он в забытьи. — Граф тоже сказал...

Новиков замер спохватившись. Небесный голос затих, все стало реальным и близким. Николай Иванович взглянул со страхом на генерального визитатора. Перед ним сидел лысый старик и недовольно качал головой.

— Вот видишь, к каким предрассудкам привык человек, как трудно познать себя и исправиться.

Новиков молчал подавленный. Старик встал с кресла, подошел к Новикову и положил ему руку на плечо.

— Ты должен принять присягу, пройти обряд таинства. Тогда ты приобщишься к братству.

Новиков вслушивался в речь генерального визитатора, и взгляд его мешал понять смысл слов. Потом он понял и слегка отодвинулся.

— Нет!

— Как нет? — недоуменно переспросил старик. — Ты не хочешь быть с нами?

— Я буду с вами. Но не надо слов, не надо клятв...

— Не понимаю, — обидчиво сказал старик и, поджав губы, побрел к своему месту.

— Это лишнее, понимаете, — сбивчиво говорил Новиков. — Слова, клятвы... Мы клянемся, заверяем, а потом ничего не делаем. Пусть дело идет впереди слова.

Генеральный визитатор с недоумением глядел на Новикова. Еще никто из вольных каменщиков не сопротивлялся обряду. Наоборот, все с удовольствием обнажали грудь и подставляли ее под шпаги. Все с наслаждением повторяли слова присяги и трепетно принимали символические знаки масонства: молоток, циркуль, треугольник. Все любили обряд таинства, никто не отказывался.

Колебалось пламя свечи, и злато-розовый крест ордена розенкрейцеров-мартинистов искрился.

Генеральный визитатор молчал.

Молчал и Новиков. Нет, нет, не надо клятв! Он помнит клятвы некогда обожаемой государыни, помнит ее слова о России, о правде, о том, как она отменила слово «раб». Слово отменено, а рабство?

— Сядь! — генеральный визитатор указал ему место в дальнем углу.

В комнату вошел один из масонов — Алексей Михайлович Кутузов. Он наклонился к генеральному визитатору, и они долго о чем-то шептались. Потом Кутузов вышел, старик снова обратился к Новикову:

— Мы примем тебя без присяги. Мы знаем, что ты честный человек и не нарушишь тайны. Останься один, подумай. Пусть присягнет твоя совесть.

Генеральный визитатор задул свечу, и Новиков очутился в темноте.

Тишина оглушила. Но он был благодарен генеральному визитатору, что тот кончил мучительный разговор и оставил его одного. Даже в масонской беседе трудно выразить высокие чувства — бестрепетно и сильно они живут только в книге.

Он не понял, сколько прошло времени. Вдруг раздался откуда-то сбоку тихий голос:

— Иди, брат!

И тут словно распахнулась стена, зашуршали, по-

ползли занавески. Прямо перед ним открылось окно, и ослепительное солнце брызнуло в глаза. Он зажмурился.

Он знал, что будет так, что вольные каменщики укажут ему на солнце, ибо солнцу они поклоняются, и Иванов день — главный их праздник. Он знал это, был готов к неожиданности и все-таки испытал радостное чувство открытия и обновления.

Комната была пуста. Исчез и генеральный визитатор, исчезли и знаки масонов: череп со скрещенными костями, злато-розовый крест, светильник.

Новиков толкнул дверь и вышел в другую комнату, но и та была пуста. И в следующей было безлюдно, только на столе лежала записка: «Придешь в четверг, к осьми часам».

«В медный таз», — весело подумал Новиков.

В четверг он снова оказался в том же доме на Мойке, но в комнате, где уже не было масонских знаков, где стол был накрыт для ужина и где горело множество свечей в изящных канделябрах. Николай Иванович стесненно оглядывался, робея и удивляясь этой праздничной обстановке, но Алексей Михайлович Кутузов, один из ревностнейших и деятельнейших масонов-мартинистов, решительно усадил его в кресло напротив себя.

Едва они начали разговор, распахнулась дверь, и пятеро розенкрейцеров-мартинистов, держа в руках шпаги, провели через комнату человека с завязанными глазами и обнаженной грудью. Не останавливаясь, они ушли в соседнюю комнату.

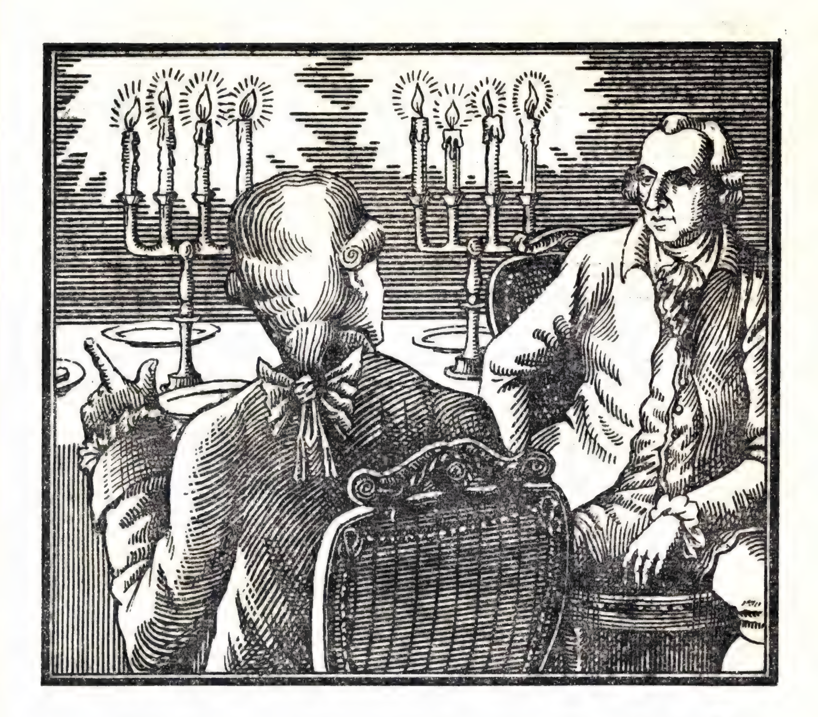
— Наше братство растет, — проговорил с довольной улыбкой Кутузов. — Оно будет всемирным: шведское масонство «строгого наблюдения», английские ложи, шотландские. Герцог Брауншвейгский прислал нам добрые слова, берлинские масоны берут нас под свое покровительство... Весь мир вскоре объединится одним учением любви к ближнему.



— Я не сочувствую шведской системе «строгого наблюдения», — возразил Новиков. — Они политики, заговорщики, не признают законность государства и общества.

— Но ты не станешь отрицать, что они много страдали, подвергались гонениям, — сказал Кутузов. — Их история поучительна. Мы должны учиться у европейских масонов. Ты уже знаешь, что проповедовал наш учитель Сен-Мартень, знаешь, к чему призывают его последователи мартинисты. Ты знаком с нашим нравственным учением — теософией. Но разобрался ли ты в нашем физическом учении — алхимии?

— Слабо, — признался Николай Иванович.



— Ты знаешь, что алхимики ищут философский камень, но известны ли тебе сии буквы: V. I. T. R. I. O. L.?

— Нет.

— Visita interiora terrae rectificando invenies ocultum lapidem — что значит: «Проникни во внутренность земли, перегонкою найдешь сокрытый камень». Если ты найдешь философский камень, ты счастливец. Философский камень, будучи сжатым и обращенным в порошок, может превращать в золото любой неблагородный металл, в том числе и ртуть — мать всех металлов. Если ты отыщешь семя металлов, то можешь осчастливить человечество. Мужское семя уже открыто — это золото, но нужно найти женское — философический меркурий.

Стоит философический меркурий добавить в золото, и при известной теплоте получится белая тинктура, способная превращать неблагородный металл в серебро. Можно получить и красную тинктуру, которая, если подбавить ее в расплавленный металл, обратит любой металл в золото.

Кутузов ораторствовал, Новиков напряженно слушал.

— Знаешь ли ты, что такое архей?

— Да, — отвечал Новиков, — это жизненная сила.

— А знаешь ли ты, что с помощью философского камня можно найти всеобщее лекарство, панацею, которая воздействует на архей. И тогда отступит любой недуг, ибо жизненная сила победит болезнь. Не нужно лечить разные болезни, а нужно просто усилить жизненную силу — архей. Подумай, от скольких бед избавилось бы человечество, если бы нашло философский камень.

Послышался шум за дверью.

— Приняли нового брата, — с проникновенной улыбкой сказал Кутузов.

Дверь распахнулась: на пороге стоял Ляхницкий. Позади толпились вольные каменщики-мартинисты, члены ордена злато-розового креста.

— Ба! — закричал Ляхницкий, разбросав в стороны руки. — Николаша! Ты ли это? Гляжу не нагляжусь!

Он сгреб Новикова в объятия. От новообращенного исходил легкий запах вина.

— Вы не представляете, что это за человек, — говорил Ляхницкий, обращаясь ко всем. — В 62-м году мы с ним ударили по голштинцам и помогли взойти на престол нашей бесценной матушке Екатерине. Он шел впереди и дрался как лев.

— Ляхницкий, — тихо сказал Новиков.

— Если бы не он, государыне бы не видать короны, как...

— Ляхницкий, — укоризненно произнес Кутузов.

— Нет, сегодня мы выпьем по бокалу вина за нашу встречу!

Скрипнула дверь, и вмиг все замерли. Вошел генеральный визитатор. Ляхницкий съежился и замолчал.

Генеральный визитатор прошел к высокому креслу и сел в него, радушно обведя рукой накрытый стол, приглашая к трапезе. Вольные каменщики оживились, зазвенели тарелки, ножи, бокалы. Открылись блюда при полном параде, плотоядно заблестели глаза, умаслились губы. Великое таинство куда-то отлетело, и над ухом у Новикова шумно дышал Ляхницкий.

Пока длился ужин, Ляхницкий молчал. Он яростно грыз гусиную ножку и косился на Новикова, словно боясь, что тот отнимет.

Новиков вслушивался в разговоры мартинистов. Один слева рассуждал о необыкновенных литературных способностях государыни и приводил в доказательство ее слова: «не пописавши, нельзя ни одного дня прожить». Другой, сидящий напротив, упрекал соседа за то, что тот вчера ударил бубновым тузом, когда надо было бить дамой той же масти.

После ужина Ляхницкий схватил Новикова за руку и оттащил в сторону.

— Сказывают, ты знаком с архитектором Баженовым. Друг мой, сведи меня с ним. Он близок особе великого князя Павла Петровича.

— Ах вот куда ты метишь!

— Павел Петрович — светлейшая голова. И кому, как не ему, быть на троне.

— Однако матушка его не любит.

— Она боится, что он отомстит за убитого отца — императора Петра Федоровича. — Ляхницкий наклонился к уху Новикова: — Она уверена, что он ее зарежет!

— Полно вздор молоть!

— Ах наивный кузнечик! Если престол займет Павел Петрович, то масонство расцветет необыкновенно.

У мартинистов будет властительная поддержка, и масонство покорит весь мир.

— Я не хочу покорять мир, — хладнокровно ответил Новиков.

— Ты скучен, как пастор. Но пойми, Павел Петрович любит немцев, и масонские связи охватят всю Европу.

— Но ты же не любишь немцев. Отчего хлопочешь?

— Времена меняются, и мы меняемся с ними... — важно заметил Ляхницкий.

— Мы так быстро меняемся со временем, что не успеваем понять, кто же мы. Так кто же ты?

Ляхницкий скрипнул зубами и отошел.

Добрый малый... Они все зовут его добрым малым, а он запорол в своей деревне двух крестьян до смерти. Как же можно принимать его в масоны?

Новиков огляделся — братья мартинисты разбрелись по углам: кто продолжал ужинать, кто сражался за зеленым сукном. Из соседней комнаты доносился стук бильярдных шаров.

Генеральный визитатор дремал в кресле.

Николай Иванович медленно вышел в прихожую и стал одеваться. Его окликнули. В дверях стоял Кутузов и тревожно смотрел на него.

— Не уходи! — Кутузов умоляюще приложил руку к груди. — Я понимаю твое настроение, но не уходи...

Новиков шагнул ему навстречу. Движение вышло резким, порывистым, и Кутузов, глядя робко-вопросительно, немного отступил. Новиков положил ему руку на плечо.

— Алексей Михайлович, скажи, что есть истинное масонство? — чуть слышно спросил он, и глаза его наполнились слезами. Кутузов страдальчески сморщился и стыдливо прикрыл дверь в комнаты. Вся поучительность соскочила с него, и он заговорил быстро, запинаясь, словно ученик на экзамене, но тоже понизив голос:

— Нет, ты не должен смущаться сегодняшним вече-

ром. Просто генеральный визитатор устал и разрешил немного развлечься.

— Скажи, что есть инстинное масонство? — спокойнее, но все так же упорно спрашивал Новиков, отирая платком слезы. — Я полагаю, что масонство есть нравственное исправление посредством самопознания и просвещения. Затем и пришел сюда, чтобы пройти по путям христианского нравоучения. Но Ляхницкий? Зачем он здесь? Чтобы вести политические интриги? Вкрасться в доверие к наследнику?

— Не думай о Ляхницком. Он случайный гость. Думай об истине!

— Что есть истина?

Кутузов проникновенно прижал обе руки к груди. Наступила торжественная минута, и Новиков ждал ответа как приговора.

— Всякое масонство, — сказал Кутузов, — имеющее политические виды, есть ложное. Власть, интриги, зависть не могут владеть вольными каменщиками. Истинное масонство малочисленно. Истинные масоны не стараются принимать больше членов. Они пребывают в тишине и размышлениях. Их цель — нравственное совершенствование людей.

— Значит? — еле слышно сказал Новиков, указывая на дверь.

— Значит, сия ложа неистинна, — в ответ прошептал Кутузов.

Оба замолчали, удрученные крамолой, которую изрекли. Новиков потянулся за шубой...

Они шли по заснеженному Петербургу, и Кутузов стал рассуждать о шведском масонстве, которое из-за близости Стокгольма сильно повлияло на петербургских мартинистов, и об истинных масонах, которых много в московских ложах, и это не случайно: кровь у московских жителей теплей и жизненная сила — архей выше, потому как у петербуржцев архей придавлен сырым балтийским ветром.

Слова Кутузова напомнили о Москве, об Авдотьине и он стал слушать спутника вполуха, думая о предложении куратора Московского университета Хераскова перебраться в Москву и начать работу в университетской типографии. Предложение поспело в срок, потому что в Петербурге в последнее время дела не шли, журналы остановились, то ли из-за слабого петербургского архея, то ли еще из-за чего...

Фалалей шел за ним по-слоновьи, не торопясь и глядел барином: вымахал парень в версту коломенскую. На стремительно двигающегося Новикова посматривал снисходительно.

На Никольской тесно от людей. Николай Иванович ревниво взглянул в сторону книжной лавки Кольчугина: есть ли покупатели? В раскрытых дверях маячили фигуры: копаются люди в книгах, листают, прицениваются — идет торговля. Вчера, сказывают, два студента из-за Вольтеровой книги подрались, а служащий Посольского приказа предлагал барана за сочинения Сумарокова. Пошла книга, прежде такого не было: интересовалась Москва только кулачными боями.

Около лавки сам Семен Никифорович Кольчугин покрикивал: «Новейшие сочинения! Старинные издания! Подходи, отведай! Вкусный товар!»

Будто арбузами торгует. Бойкий, толковый купчик, но к делу новому не привык: не разумеет, что книги не блины, эта коммерция требует степенности, уважительности, тишины, как в божьем храме.

На днях Кольчугин ему жаловался, что книг не хватает: спрашивают новиковские сочинения, изданные в Петербурге «Опыт исторического словаря о российских писателях», «Древнюю российскую Вивлиофику». Особенно «Вивлиофикой» интересуются — собранием старинных документов и рукописей. Будет ли Новиков издавать «Вивлиофику» в Москве? Он обещал Кольчугину издать, если дело пойдет. Типографии еще нет, в ру-



ках только бумага, подписанная куратором Московского университета Михаилом Матвеевичем Херасковым.

Николай Иванович невольно погладил лежащий в кармане сверток с договором. Там указано, что университетская типография сдается в аренду поручику Новикову с 1 мая 1779 года по 1 мая 1789 года.

Показалась Никольская башня Кремля и рядом, у въезда на Красную площадь — Воскресенские ворота: ни дать ни взять двугорбый слон. Башни-горбы над грузным телом возвышаются, их арки-ноги поддерживают. Под арки валит народ на Красную площадь, и мало кто подозревает, что тело слона ему, Новикову, теперь принадлежит. Николай Иванович заволновался.

— Гляди, принц бумажный! Наш за́мок.

Фалалей остановился, прищурился. Лицу придал равнодушное выражение, а сам чуть не подпрыгивает.

— Вот думаю я, Николай Иванович. Хороши башни — голубей бы туда приладить!

— Мы такую стаю отсюда выпустим, разлетится по всей России. И крылья будут побелей голубиных!

Фалалей ахнул: никогда такого хвастовства от Николая Ивановича не слыхал. На себя непохож, руками размахивает, глаза блестят, петербургскую грусть как рукой сняло.

Новиков почти вбежал по крутой лестнице на второй этаж, прямо в чрево слона. Из типографского помещения слышались громкий смех, голоса. Он вошел.

Наборщики сидели подле типографского станка, на котором стояли налитые брагой кружки. Свинцовые буквы-литеры валялись подле станка неразобранной кучей. На переплетах книг лежали соленые огурцы.

Верхом на наборной кассе сидел чернявый парень с темным от свинцовой пыли лицом. Он раскачивался и вдохновенно вещал:

— Тридцать лет стоял на Варварских воротах образ богоматери. Тридцать лет и три дня. Но никто никогда там не молился. У иконы горела маленькая свеча. Тридцать лет горела, не гасла. А как вдруг погасла, поняли люди: разгневался Христос. Разгневался, разбушевался и решил послать на город Москву каменный дождь. Но богородица попросила его не метать камни. Говорит, пошли им трехмесячный мор.

Все были увлечены рассказом, и никто не обратил внимания на вошедших Новикова и Фалалея.

— Так вот отчего в Москве чума была, — степенно заметил толстый пожилой наборщик, видно, бывший здесь за старшего. — Знать, за прегрешения наши.

— У Варварских ворот сидел тогда мастеровой и кричал: «Порадейте, православные, богоматери на всемирную свечу!»

— Целый сундук тогда медяков навалили.

— Не медяки надо было класть, а серебро, — сказал пожилой. — Эх, жаден народ!

— Не серебром надо богородицу задаривать, а брильянтами, — звонко произнес Николай Иванович. — Тогда бы чумы не было!

Головы повернулись. Чернявый выпучил глаза, а огурец, которым он закусывал, так и остался торчать во рту.

— Брильянтами... Эк куда хватил, — проворчал пожилой.

Чернявый выплюнул огурец.

— Брильянтами! — подхватил он. — Уж из-за медяков-то народ церковь разгромил, архимандрита убили, а уж из-за брильянтов что было бы!

— Из-за медяков людей поубивали, — тихо сказал Николай Иванович. — Помогли бы друг дружке, про бога не забывали, и беда бы не пришла.

— А ты кто будешь? — вдруг вскинулся чернявый.

— Хозяин ваш, — спокойно произнес Новиков.

Ответом был хохот.

— Ну шутник ты, барин, — со степенной улыбкой возразил пожилой. — Хозяин у нас университет, Михайла Матвеевич Херасков.

— А теперь я, — ответил Новиков, вынимая договор об аренде.

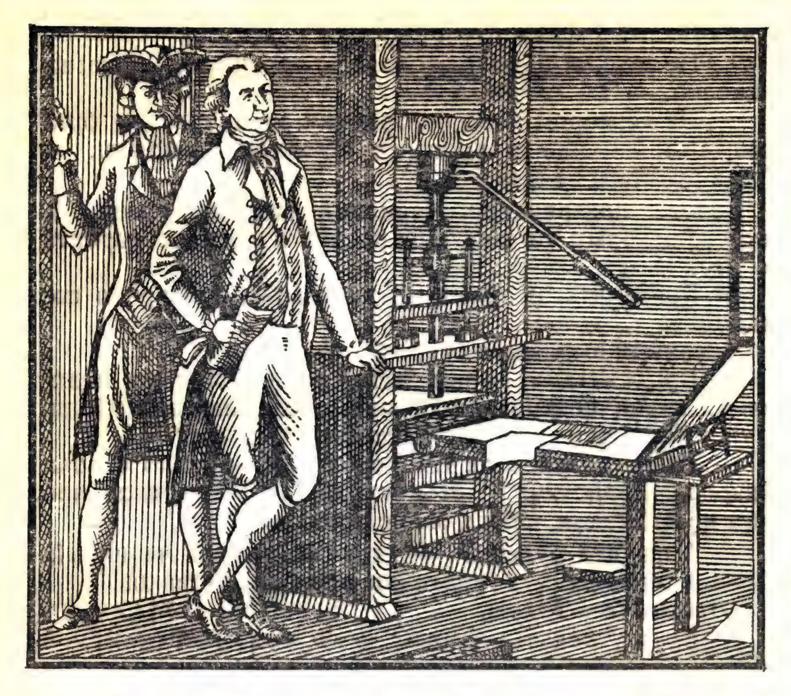
Бумага пошла по рукам.

— Теперь я буду платить жалованье. Предостаточно буду платить, ежели вы будете честно работать.

Наборщики озадаченно переглядывались.

— Это у вас в Петербурге все щеголихи да щеголи, а у нас в Москве люди работящие, — важно сказал пожилой.

— Жизнь в Петербурге веселая: все балы, сказывают, да фейерверки. Отчего ж ты уехал оттуда? — вопрошал чернявый.



— Близ царя — близ смерти, — ответил Николай Иванович.

В типографии стало тихо.

Семен Никифорович Кольчугин приходил обычно по понедельникам. «В понедельник толкнешься сильнее — всю неделю летишь». От лавки до дома Новикова на Никольской — два шага, и поутру в восемь часов Кольчугин уже тряс колокольчик на крыльце. Николай Иванович обычно сам открывал ему: ждал вестей от бойкого купца.

Допрашивал Новиков с пристрастием: интересуются ли покупатели философскими книгами (а чтобы знал



лучше купец, чем торгует, Николай Иванович рассказывал ему об Аристотеле, Платоне, Сократе); хорошо ли пошли «Собрание разных забавных и веселых историй», «Поваренные записки», «Опыт о свойствах, разуме женщин в разных веках»; какие шрифты больше нравятся читателю: крупные или мелкие (крупным шрифтом многие книги в тиснении запущены); не предлагает ли Кольчугин студентам букварь, а ямщикам «Правила пиитические» (на прошлой неделе произошел смешной случай: повез купец в монастырь к монахам «Нравоучительное рассуждение о супружеских должностях»). Кольчугин покряхтывал от упоминания о досадном происшествии, но слушал советы покорно: издатель не при-

теснял его ценой. Потому и соглашался на торговлю книгами, по мнению Кольчугина, обременительными и скучными: словарями, грамматиками, учебниками.

После ухода купца Новиков садился за почту. Писем было много. Писали друзья-мартинисты, книготорговцы, брат из Авдотьина.

С нетерпением вскрыл конверт от Кутузова из Петербурга. Вздрогнул от неожиданности. Весть была удивительная.

Кутузов сообщал о возвращении из-за границы великого князя и наследника Павла Петровича и о том, что немецкие масоны приняли великого князя в свою ложу.

Новиков в волнении заходил по комнате: как! Наследник тоже влечется к их братству? К тем, кто хочет усовершенствовать род человеческий! Сколько же может сделать добра человек, наделенный властью! Как помочь людям! Недаром в московских ложах пели гимн про Павла: «Украшенный венцом, ты будешь нам отцом!» Потом с досадой махнул: надо ли надеяться на властительных отцов?

Но письмо продолжало волновать. Кутузов сообщал далее, что слухи о масонстве наследника дошли до государыни и что она очень рассерчала. Александру Борисовичу Куракину, спутнику Павла, она указала отправиться в свою пензенскую деревню, а сына побранила и лишила всяких денег. Он уехал в Гатчину и сидит теперь там взаперти, всем жалуясь на мать. Государыня называет мартинистов «мартышками» и пишет про масонов комедию «Обманщик». А высмеивает в той комедии заезжего мошенника, мага и колдуна, иностранца графа Калиостро, которого тоже считает мартинистом.

Николай Иванович опять забеспокоился. Ну какой же мартинист граф Калиостро? Жулик, маг, вызывающий духов. Приехал в Россию, назвался полковником испанской службы и морочил голову людям, пока не выдворили его за границу. Что общего у него с марти-

нистами-розенкрейцерами, которые жаждут деятельного добра? Ничего. Простые дела должны делать масоны: распространять книги, учить детей, помогать больным и нуждающимся.

Жаль, что государыня, которая столькими благами одарила Россию, так предубеждена против масонства. Отчего же сие? Неужто боится подстрекательства немцев? Всюду ей видятся их коварные интриги.

После Пугачева у матушки характер стал портиться. И то понять можно: такой разбойник кого хочешь напугает, а тут тень убитого царя Петра Федоровича привиделась.

Он спрятал письмо в стол. Пора было идти в типографию. От тревожных мыслей типография — лучшее лекарство. Стоило ему войти в комнаты над Воскресенскими воротами, вдохнуть крепкий запах типографской краски и бумаги, увидеть стопки новорожденных книг в скрипящих переплетах — с души слетала тяжесть.

В хозяйстве теперь порядок. Наборные кассы полны литер: прямых и курсивных, русских и латинских, английских и греческих. На десять пудов металлу для литер. Станы, рамы, верстатки, прессы отлажены, как пушки у артиллеристов. В словолитне стоят новые формы для изготовления литер на разные азбуки.

А главное — рабочие не пьянствуют, трудятся с охотой. За год выпустили столько книг, сколько их университетская типография не отпечатала со дня своего основания.

Протоиерей кремлевского Архангельского собора Алексеев шипит: «Благородный дворянин купцом стал». Князь Щербатов одобряет: «Благородство и в торговле сохранять можно».

После типографии Николай Иванович отправляется на Мясницкую. Там в переулке возле Меньшиковой башни небольшая потаенная типография, где на одном станке печатаются некоторые масонские книги. Печатаются скрытно, чтобы не вызвать гнева духовенства...

В том же доме навещает Николай Иванович и Карамзина, который приглашен редактировать «Детское чтение для сердца и разума».

Обход своего издательского хозяйства Новиков завершает посещением особняка Татищева на Мясницкой. Там к вечеру собирается Дружеское ученое общество.

Комнаты особняка бурлят. Николай Иванович особенно любит эти минуты, предшествующие торжественным заседаниям. Свободно и легко вьется мысль, тепла и стремительна дружеская шутка.

— Помните, у Платона? — слышно справа. — Человеческий род не освободится от зла, покуда поколение истинных философов не придет к власти в государстве.

— Или властители, возглавляющие государство, не станут жить как истинные философы. Но где взять истинных философов?

— А Фалалей? — с улыбкой замечает Николай Иванович, подходя.

— Философ Фалалей, пока не видит голубей!

— Не смейтесь! Подождите год-два, и из нашей семинарии, из университета выйдут истинные философы.

В другой группе рассуждают об Америке.

— Генерал Вашингтон одолел англичан... Теперь Штаты будут независимы.

— То-то французы ликуют.

А здесь говорят потише: придворные новости.

— Царевич Павел просился на войну. Государыня не отпустила.

— Она унижает его на каждом шагу.

Семен Иванович Гамалея трогает Новикова за рукав. Он приготовил переводы с восточных языков и нетерпеливо ждет мнения издателя.

Татищев звонит в колокольчик. Заседание Дружеского ученого общества начинается. Сегодня оно необычно. Сегодня не будет ни научных докладов, ни чтения од или поэм. Николай Иванович поднимается, чуть сцепив пальцы, чтобы не дрожали от волнения.

— Друзья! Наступил великий день. Вы знаете об указе императрицы, по которому дозволяется заводить вольные типографии. Отныне вольное слово и просвещение чистым потоком разольются по всему государству Российскому! Никаких преград для мысли человеческой! Благодетельны деяния Екатерины премудрой, слава ей пребудет вечная!

Аплодисменты на миг заглушили его речь.

— В Москве издается много книг. Но их можно издавать в десять раз больше. Если мы объединим свои капиталы и создадим Типографическую компанию, то наши читатели получат книг вдоволь. Будем издавать «Детское чтение» с помощью Николая Михайловича Карамзина, экономические книги и журналы трудами Андрея Тимофеевича Болотова, учебники, переводы с французского и немецкого, с восточных языков, книги духовного содержания, романы, пиесы, поэмы. Дружеское общество тому опора. Я предлагаю объединить усилия. Есть и помещение для сего дела — большой дом графа Гендрикова у Спасских ворот, уж я прицениялся.

— Жертвую на святое дело, — громко сказал купец Походяшин.

Все заговорили, зашумели. Лопухин вскочил с места.

— Даю двадцать тысяч! — крикнул он.

— Спокойно, господа! Пусть каждый выскажется. — Татищев позвонил в колокольчик.

Новиков сияющим взглядом обводил друзей.

Типографическая компания составилась четырнадцатью членами. Новиков передал компании книг на 80 тысяч рублей. В доме близ Сухаревой башни у Спасских ворот начали работать печатные машины.

Хлопот у Николая Ивановича прибавилось. Дня не хватало. Александра Егоровна ворчала: «Не я тебе жена, а Типографическая компания. И дети твои — литеры, матрицы и как их... пунсоны, а не наши Ваня да Варя». Николай Иванович прижимал руки к груди: «Сашенька, голубчик, не сердись. Дело надо сдвинуть.

Тогда и детьми смогу больше заниматься». — «Тебе пунсоны дороже нас», — возражала Александра Егоровна. «Ну что ты говоришь!» — ужасался Николай Иванович. «Да, дороже... А кстати, что это такое?» И совсем было уже убитый Николай Иванович воскресал, обрадованно кидался объяснять, что пунсоны — это металлические приспособления для печати и что они никак не могут быть дороже Вани или Вари.

Супруги мирились, и Николай Иванович, несколько успокоенный, мчался в книжную лавку у Никольских ворот, или типографию, или усаживался читать свежие оттиски газеты «Московские ведомости».

Беду принес вездесущий Ляхницкий. Ворвавшись в кабинет Новикова, он с порога закричал:

— Здравствуй, господин купец! Какова торговля?

— Помаленьку.

— Всю Россию книгами завалил помаленьку! Раньше в Москве — благодать божья: люди гуляли, ни о чем не думали. А теперь суета: на каждом углу книжная лавка, и все бегают с вытаращенными глазами: что издает Новиков? Дожили: извозчики читают «Московские ведомости»! Что ты сделал, Николаша, с народом, нашим добрым, смирным народом! Знал я, что ты отчаянный гвардеец, но что ты московским царем станешь — извини, не предполагал. Какую книгу ни возьмешь, все вензеля будто царские: N да N.

— Это знак предприятия.

— Как бы не сгорело твое предприятие. Самозванцев в Москве из пушек выстреливали. А такого, как ты, завоевателя на Руси еще не было. Недаром в Петербурге говорят, что ты сумасшедший, фанатик!

— В чем же мое безумие?

Ляхницкий вытянул из кармана сложенный лист «Московских ведомостей».

— Вот. — Он ткнул пальцем в статью «История ордена иезуитов».

— Ну что ж, поучительная история. Узнают читате-

ли, как отцы церкви уходят от религиозных начал и становятся политиками и шпионами.

— Что? Что?

— Тебе не нравится слово. Хорошо, скажу так: мирские притязания иезуитов несообразны с духом монашеского братства. Они хотят устроить государство в государстве.

Ляхницкий отбросил шляпу и обмахнул лицо платком.

— А знаешь ли ты, что государыня взяла иезуитов под защиту?

— Я знаю, что государыня любит открыто выраженное мнение.

— А вот иезуиты донесли государыне свое мнение закрытым способом через Потемкина и Безбородку. И государыня гневаться изволили.

Ляхницкий заметил, как пальцы Новикова стали нервно перебирать газетные листы, и подбавил огоньку:

— Ее величество направили указ генерал-поручику Архарову, где повелевают запретить печатание ругательной истории ордена иезуитского. А экземпляры, ежели изданы, отобрать.

Новиков побледнел. Некоторое время он сидел неподвижно, потом глухо проговорил:

— Мое одно старание, чтобы истина не умирала, подобно цветку в темноте. Помню всегда слова ее величества: «Я хочу, чтобы из лести мне говорили правду».

Ляхницкий ударил кулаком по столу и побежал к двери. У порога он остановился и закричал:

— В конце концов тебя повесят!

Хлопнула дверь. Николай Иванович схватил гусиное перо и стал быстро затачивать его. Но руки дрожали, голова кружилась.

— Вздор, — сказал он и упрямо повторил: — Вздор!

Но он уже знал, что случившееся не было вздором.

Протоиерей Петр Алексеев явился неслышно, как темная ночная птица. Только скрипнула дверь, и на пороге типографии выросла фигура в черном. Он вошел в дом как в свой, нимало не смущаясь.

Николай Иванович вздрогнул и оторвался от чтения набора. Рабочий, тот самый чернявый, что рассказывал о каменном дожде и трехмесячном море в Москве, с испугу рассыпал литеры и попятился от безмолвно наступавшего протоиерея.

Николай Иванович поклонился.

— Чем могу служить?

Алексеев, не отвечая, обводил взглядом помещение типографии. Потом подошел к стану и прочел название набираемой книги «Об истинном христианстве».

Он выпрямился, покраснел от напряжения.

— Что есть истинное христианство?

Глаза протоиерея были устремлены в потолок, словно он спрашивал не у Новикова, а у бога.

— Истинное христианство есть склонность делать добро, — отвечал Николай Иванович. — Ежели вы хотите побеседовать о сущности христианства, не угодно ли пройти в комнаты? Здесь грязно и говорить неудобно.

— Вижу, что грязно, — произнес протоиерей со значением. — Нелепые умствования и колобродства заманивают человека в грязь. Ее с души не отмоешь.

Николай Иванович сцепил пальцы, чтобы не дрожали.

— Ошибаетесь, сударь. Перед богом свидетельствую: ни зловредных намерений не имею, ни...

Обращение не по чину взорвало протоиерея.

— В расколах упражняетесь! Верующих соблазняете! Аптеку завели! Людей травите!

Последние слова Алексеев произнес свистящим шепотом, но они оглушили Новикова.

— Не смейте! — крикнул Николай Иванович, весь дрожа. — Как же это? Спросите людей! Бог вас накажет!

— Что бог, — протоиерей усмехнулся. — Не вам, масону и колдуну, говорить о боге.

— Идите! Идите со мной! Вы поймете, что заблуждаетесь.

Это было чудовищно — приказывать высокому духовному лицу, но Алексеев почему-то повиновался.

Они вышли на улицу. Николай Иванович, поминутно оборачиваясь, указывал, куда идти. Протоиерей шел медленно, с грозно-снисходительным видом. Новиков задыхался: эти обвинения, нелепые слухи надо было сейчас же пресечь, иначе конец. Он и сам не знал, как это сделать, но нужно было попытаться...

Они поднялись на крыльцо и отворили дверь. Николай Иванович вскрикнул.

В прихожей стоял доктор Багрянский и целился из ружья протоиерею прямо в лоб.

— Нет! — закричал Николай Иванович, бросаясь меж Багрянским и священником.

Багрянский опустил ружье и рассмеялся.

— Дуло проверял, не заржавело ли. Ничего, в порядке...

Алексеев очнулся от столбняка и, бледный, попятился к двери, не спуская глаз с доктора. Поняв, что угрозы больше нет, он воздел руки.

— Господи! Видишь ли ты, что творят смутьяны, как колобродят раскольники?! Господи! Взгляни и запомни!

Алексеев взмахнул широким рукавом рясы, будто отметая липнущую к нему нечисть, и выбежал на улицу.

— Доктор! Что вы наделали! — с отчаянием сказал Новиков.

— Ничего! Пусть знает, с кем имеет дело. Он уже несколько раз кружил около аптеки и типографии. Черный ворон, его надо пугнуть!

— Ах, доктор, доктор! — Новиков не мог успокоиться. — Что за причуды!..

Из внутренней комнаты послышался удар и звон разбитого стекла.

— Вот! Фалалей медицину изучает, — хладнокровно заметил Багрянский. — Сплошные убытки.

Но Николай Иванович на шутку не отозвался.

С той поры тревога остро вошла в сердце.

Протоиерей иногда появлялся в лавке, листал книги, принюхивался и исчезал, едва завидев Новикова. Навещал он лавку довольно часто, и, когда вдруг пропал на длительное время, Николай Иванович вздохнул было с облегчением. Но Фалалей и Багрянский сообщили ему, что вместо Алексеева, видимо, по его наущению, в лавку приходит какой-то монах и роется в книгах. Багрянский обещал поколотить монаха, но Николай Иванович умолял отказаться от этой затеи.

Однажды в лавку у Спасских ворот на Садовой вошел седенький старичок в поношенном капральском мундире, на котором лучисто сияли начищенные пуговицы и звенели медали. В лавке приказчика не было, и Николай Иванович осведомился, какую книгу желает приобрести покупатель. Но старичок, не отвечая, слезящимися глазами смотрел на Новикова. Насмотревшись, он вытянулся в струнку и доложил:

— Его величества гвардейского Измайловского полка капрал Облесимов!

Новиков ахнул: маленький капрал!

Он обнял старика, и тот заплакал.

Успокоившись, маленький капрал поведал о своей жизни, о полном обнищании и одиночестве: померли все его близкие, а из двух крепостных, ему принадлежавших, один сбежал на Дон к казакам, другому он дал вольную...

Решили, что капрал будет производить опись книгам, регистрировать их, отправлять в книжную лавку и узнавать, что спрашивают покупатели. Поселиться он может в доме на Никольской, в комнате на первом этаже. Капрал прослезился от счастья...

Месяца через два маленький капрал дотошно знал

свое хозяйство. Его можно было разбудить среди ночи, и он тут же называл, где стоят сказки «Тысяча и одна ночь», а где книга «Тысяча и одно дурачество», сколько экземпляров «Дружеских советов молодому человеку» осталось на складе и сколько издано комедии «Тартюф».

Книжные лавки по городам росли как грибы.

— Из Тамбова купец Сидоров пишет, — докладывал Облесимов, — что рад нашему предложению открыть книжную торговлю. О том же уведомляет городничий из Ярославля. А из Киева священник Кущинский нижайше просит прислать учебники для семинарии.

— Напиши им, — указывал Новиков, — что ежели семинария без посредства торговца хочет закупить книги, то уступка им в цене большая будет. Сообщи в Ярославль наши условия: ежели кто книг в переплете возьмет на 100 рублей, тому на 10 рублей дается сверх того даром. А кто возьмет на 500 рублей, тому сверх того дается книг на 100 рублей даром...

Книги просили многие. И всякой просьбе Николай Иванович радовался как подарку: еще одним просвещенным человеком больше. Но одна просьба его озадачила и усилила тревогу в душе.

Баженов явился к нему поздно вечером, когда Николай Иванович, надев халат, приготовился ко сну. Знаменитый архитектор пробормотал извинения, бросил плащ на стул и осторожно прикрыл двери в гостиной. Глаза его лихорадочно блестели, он вжался в кресло, крепко ухватив подлокотники.

— Не угодно ли чаю? — предложил Николай Иванович, чувствуя, как ему передается беспокойство Баженова.

— Нет, нет, — сказал Баженов. — Не надо чаю. Дело чрезвычайной важности. Вам поклон от великого князя Павла Петровича.

Николай Иванович застыл от неожиданности: никогда еще наследник престола так прямо не обращался к

масонам. Может быть, Павел хочет помочь им? Новиков мечтал об этой помощи и боялся ее.

— Великий князь просил передать, — продолжал Баженов, — что любит мартинистов, уважает их пытливый ум и искания. Он высоко оценивает вашу типографическую деятельность.

— Благодарю. Павел Петрович — добрый и деликатный человек.

— Поэтому ему тяжело жить.

Баженов вскочил и заходил по комнате. Он резко повернулся и выпалил неожиданно:

— Павел ненавидит мать! Не-на-видит! — И добавил шепотом: — И я ее ненавижу!

— Ну полно! — еле слышно сказал Николай Иванович.

— Да, ненавижу! Растленная старуха! И этот разжиревший циник Потемкин, и этот господин в случае, новый фаворит Платон Зубов — молокосос! Безумное правление! Мой проект кремлевского дворца заброшен, разрушен дворец в Царицыне. Разрушен!

Баженов сжал кулаки.

— Государыня прогневалась, увидев масонские знаки на стенах. Даже изображение солнца на малом дворце, где выведен ее вензель «Е», показалось ей масонским символом. Не зная, что сказать, она кричала: «Это острог, а не дворец!» Ее ярость слепа, это ярость старой и безумной женщины. Жалкая старуха!

— Нет! — закричал Николай Иванович. — Вы не смеете так говорить о монархине... Да, она не святая...

Баженов усмехнулся.

— Но никто не должен забывать, — продолжал Николай Иванович, — сколько сделала она для России!

Баженов опустился в кресло.

— Жалкие, робкие россияне, — пробормотал он.

— Благодарю вас, — тихо ответил Новиков.

Баженов взглянул на опечаленного Новикова и неожиданно рассмеялся.

— Я совсем обезумел. Вздор... Не сердитесь!

— А коли так, будем пить чай, — с облегчением сказал Николай Иванович.

— Соблаговолите лучше рюмку водки.

Пока слуга хлопотал об ужине, Баженов спокойно изложил суть дела. Великий князь интересовался делами мартинистскими, недавно расспрашивал Баженова с живым любопытством, хотя волновался при этом, оглядывался по сторонам, не следит ли кто за ними. Баженов считал, что милостивое покровительство и заступничество такой особы было бы полезно. Поэтому надо оказать ей всяческое внимание, подарив особе интересующую ее книгу «Об истинном христианстве».

— Я даю книги всем, кто захочет, — отвечал Новиков, — но здесь дело деликатное, особа уж очень важная. Не вызовем ли гнева государыни?

— Она о сем не узнает.

— Матушка догадлива.

— Я буду в Павловске, великий князь там в одиночестве. Императрица не дает ему даже денег. Он в отчаянии, ему нужна помощь. Может быть, наша особенно.

Николай Иванович вздохнул и направился к полке с книгами. Он взял оттуда Арндта «Об истинном христианстве» и, открыв обложку, сделал на внутренней стороне почтительнейшую надпись.

Волосочесание началось с неприятности. Едва парикмахер распустил волосы государыни, послышался лай комнатных собачек и визг.

— Что это? — Императрица вскочила в тревоге. — Тезей кричит?

Она бросилась с распущенными волосами в соседнюю залу и увидела ужасное: Муфти, собачка ее секретаря Александра Васильевича Храповицкого, загнала в угол ее Тезея и впилась в него зубами. Государыня помертвела.

— Убрать мерзавку!

Но парикмахер нерешительно стоял с гребнем в руках.

Тогда она, схватив инкрустированную шкатулку, метнула ее в Муфти. Шкатулка, не задев собаку, ударилась об пол и разбилась. Из нее выкатился кусочек дерева. Муфти, поняв наконец, что монарший гнев ни перед чем не остановится, обратилась в бегство.

Государыня нагнулась, но подняла не искалеченную шкатулку, а темный невзрачный кусок дерева, выпавший из нее. Это был кусок Ноева ковчега, найденный на горе Арарат.

— Ах я сумасшедшая, вздорная баба, — пробормотала Екатерина, с беспокойством разглядывая, не треснула ли реликвия. Она пошла к себе, задумчиво склонившись над кусочком дерева — свидетелем всей истории человечества, бережно положила его перед зеркалом. Она откинулась в кресле, закрыла глаза, отдаваясь вполне одному из самых приятных занятий в своей жизни — волосочесанию.

— Мы уйдем из мира, а легенда будет жить вечно, как живет это библейское дерево, — говорила она, прислушиваясь к треску гребня.

Парикмахер-француз с покровительственным видом отвечал:

— Прекрасную легенду создают прекрасные люди.

Вошел Александр Васильевич Храповицкий, ее секретарь, с видом покаянным.

— Ах, Александр Васильевич, оказывается, твоя собачка сильнее моей.

Храповицкий вздохнул с облегчением: гнев уже не звучал в голосе Екатерины.

— Муфти, случается, ведет себя совершенно невоспитанно.

— Я недовольна своим Тезеем, он не мог дать отпор нахалу.

— Я накажу Муфти, оставлю его без пирожных.

— Нет, это жестоко.

Она снова прикрыла глаза.

— Что пишут из Москвы?

— Протоиерей Алексеев сообщает. — Храповицкий вытянул из папки конверт.

— Что же? — В ее голосе послышалось напряжение.

— Известный вам издатель продолжает выпускать книги, наполненные новым расколом.

— Книги, поносящие иезуитов, отобраны у него?

— Отобраны, ваше величество. Но он выпускает иные, содержащие нелепые умствования и колобродства. Сообщено также, что на днях у него побывал архитектор Баженов и просил книг для известной особы.

— Баженов? Ах злой упрямец!

Она вспомнила уныло-злобный взгляд сына, который, видимо, не может ей простить гибели отца, словно она виновата в его смерти. И вот теперь эта игра с Баженовым, с масонами, от которых нити тянутся в ненавистный Берлин, в нелюбезную сердцу Германию, где она, юная принцесса Цербтская, пребывала в полном ничтожестве.

Она вздохнула и достала из конверта письмо с доносом протоиерея Алексеева. Из алексеевских каракулей раздражающе выплыло имя Новикова. Фанатик... Ничему не поддается, ничему не научается. Уж как она его ласково поучала во «Всякой всячине», а он упрямо гнул свое. Теперь распространяются зловредные книги, и Баженов заигрывает с цесаревичем...

— Покойный князь Григорий Орлов, — заговорила государыня, — приметя иногда злоупотребление, спрашивал, не клонится ли сие к упадку империи. Я отвечала ему: «Из хлева выпущенные телята скачут, прыгают, случается, и ногу сломят, но после успокоятся, перестанут скакать, и, таким образом, все войдет в порядок...»

Телята подросли. Что же делать, если иной бычок не слушается, бодается?

— Надо подрезать рога, — заметил парикмахер.

— Как я, слабая женщина, буду резать рога быку? — смеясь, она отмахивалась.

Прическа была сделана. Императрица, чувствуя себя обновленной, подтянулась, принимая строгий, деловитый вид.

Француз удалился, и Храповицкий приготовился записывать.

— Указ Главнокомандующему в Москве, — продиктовала Екатерина. — В рассуждении, что из типографии Новикова выходят многие странные книги, произвести опись им и донести о том нам. А также отослать оную опись с книгами к его преосвященству митрополиту, чтобы испытать Новикова в законе нашем, чтобы распознать, не содержатся ли в сих книгах нелепые умствования и колобродства.

Государыня поднялась с кресла и стала ходить по комнате.

— Указ второй: митрополиту Платону. Ваше преосвященство, получа оную опись и книги, призовите к себе помянутого Новикова и испытайте его в законе нашем. Нужно, чтобы его книги, Новикова, и прочих вольных типографий выходили не иначе, как прошедши цензуру. Определите одного или двух особ духовных для сей цензуры, чтобы выяснить, коим образом в книги сии могли вкрасться нелепые толкования и раскол...

Государыня походила еще по комнате и, подумав, сказала:

— Полагаю, главная причина колобродству есть гнилой ветер, из Франции дующий. Варвары французы повсюду рассеялись, яд франкмасонства повсюду проник...

После ухода Храповицкого государыня велела пригласить наследника.

Павел Петрович явился только через час. Он остановился на пороге, нервно дергая пуговицу на камзоле.

— Что угодно, ваше величество?
— Мне угодно, ваше высочество, чтобы вы подошли ближе.
— Мне удобнее здесь, у стены. Она меня поддерживает, я ослаб. Кроме стен, меня здесь никто не поддерживает! — быстро проговорил Павел, и глаза его наполнились слезами.
— Ослабли, — удивленно протянула императрица. — Но от чего же вы ослабли, ваше высочество?
— От голода, ваше величество, — наследник возвысил голос. — От голода! У меня совсем нет денег. Меня морят здесь как таракана.
— Тише, ваше высочество. Зачем вы так кричите? — нежно произнесла Екатерина. — Вы же знаете, в казне нет денег. Наше государство очень нуждается. Я сегодня тоже пила только кофе и съела крошечную булочку. И боле ничего.
— Ах, зачем вы меня мучаете? — с грустью сказал Павел.
Его искренность несколько смутила императрицу.
— Ну полно, сядьте, — сказала она просительно.
Павел сел, но в отдалении.
— Отвечайте на один вопрос: отчего вы дружите с Баженовым? Чтобы мне досадить?
Павел вздрогнул.
— Он великий художник. Я чту его как мастера.
— И этот мастер не мог построить дельного дворца в Царицыне. Нагромоздил бог знает что... Ну хорошо, не будем спорить о зодчестве, будем говорить о вас.
— Обо мне?
— Да, о вас и о... масонах.
— Я ничего не имею общего с ними.
— А вспомните заграничную поездку?
Павел потупился.
— Но я не буду терзать ваше чувствительное сердце. Кто старое помянет, тому кривым ходить. Но отчего вас так тянет к московским мартышкам?

— Я их не видел и не знаю.

— И поэтому хотите познакомиться и просите книг. Причем зловредных книг...

— Вздор!

— Однако, ваше высочество, вы грубиян! Этого я за вами раньше не замечала.

— Простите, но я так говорю не о ваших словах, а о вздорных слухах, которыми пачкают мое чистое имя.

— Слухи? А это что?

Она протянула Павлу донесение Алексеева. Павел схватил бумагу и, отбежав в угол, стал читать.

— А-а! «Покорнейший слуга»! Он так подписался. Этому вашему покорнейшему слуге только справляться, почем провизия на рынке.

— Вы все мечтаете о провизии, — сухо заметила Екатерина.

— Этот покорнейший слуга собирает сплетни насчет преследуемой секты масонов, о которой ровно ничего не понимает.

— Я согласна, вы понимаете больше.

Павел понял, что сказал лишнее, и начал неловко оправдываться:

— Я тоже не понимаю. Нет, плохо понимаю. Но я хочу знать, чему они учат, что такое истинные христиане. Разве я не имею права? Я не имею права есть, я не имею права думать!

— Это истерика от голода. Идите, вас накормят, — прервала она крик наследника.

Павел сжался и выбежал за дверь.

В тот же день он умчался в Павловск, приказав привезти туда Баженова: здесь можно было разговаривать спокойно, не боясь нескромных ушей.

Баженов явился в назначенное время.

— Вот книги, забери их! — закричал Павел, указывая на стопку книг. — Я тебя спрашивал, нет ли в них чего худого. Ты клялся мне, что нет. Ты обманул меня.

— Ваше высочество, я не мошенник и убежден, что...

— Молчи, молчи... Книги-то зловредные, государыня мне все разъяснила.

— А бывают ли зловредные книги? — печально спросил Баженов.

— Выходит, ты не согласен с государыней? Вот удалец! — иронически закричал Павел и внезапно остановился. — Ну ничего, я тебя за это люблю! Ты только один умеешь не соглашаться с монархом. Один! Все холопы, ползают на коленях: и Потемкин, и Безбородко, и Орловы!

— Нет, не все рабы! Есть славные люди в Москве...

— Нет, нет! Ты рта не разевай об них говорить! Я тебя люблю и принимаю как художника, а не как мартиниста. Об них не смей говорить!

Баженов замолк.

— А может, они тебя обманывают? Как тогда? А ты меня ненароком обманываешь. Ведь Калиостро всех обманывал!

— Ваше высочество! Ни я, ни Новиков с Калиостро знакомы не были. В Москве...

— Не разевай рта! Не разевай! Я ж тебе сказал.

Баженов помрачнел.

— Ну бог с вами, — сказал Павел после паузы. — Живите смирно. Государыне ведь тоже трудно, это надо понимать. На ее плечах Россия.

Баженов молчал.

— Ты не молчи! Отвечай! Будешь жить смирно?

— Смирно живут мыши, ваше высочество!

— Вот ты мне грубишь, а я не обижаюсь. Я тебя люблю. — Павел вдруг наклонился к Баженову, шепча: — Я и тех люблю... мартышек.

Он вскочил и побежал к двери. Обернулся.

— Им письмо напиши, как и что... И приезжай ко мне в гости, не то обижусь.

Тем же вечером Баженов написал обо всем Новикову.

Вслед за императорским фельдъегерем, везущим вы-

сочайшие указы, по дороге из Петербурга в Москву мчалась почтовая повозка, в которой летели приветы Павла Петровича московским масонам.

После посещения больного наборщика, которого Новиков лечил травами, пришлось ехать к митрополиту: приглашал к себе.

Николай Иванович так и вошел в митрополичьи палаты в пыльной дорожной одежде, с сумкой, где лежали заветные травы.

Платон, тяжелый, спокойный, оглядел его внимательно и, что-то решив про себя, не торопясь благословил.

Принесли чай. Митрополит накладывал гостю малинового варенья, расспрашивал о супруге, о детях, об Авдотьине и о бедствующих крестьянах.

Потом так же неторопливо, словно невзначай, заговорил о Типографической компании.

— Недобрая молва пошла по Москве, Николай Иванович. Люди смущаются, ибо в типографии у вас печатаются книги, наполненные колобродством и новым расколом.

— Для меня это новость, ваше преосвященство. Я не слышал ни от кого слова хулы. Разве что...

— Что? — насторожился митрополит.

— Протоиерей Алексеев изволил гневаться.

— Мнение протоиереево меня мало печалит. Злой пастырь. Души человеческие — вот наша боль и забота.

— О душе и разуме людей пекусь не один год. Издано много книг духовного содержания.

— И много зловредных книг. Руссо, Вольтера, Д'Аламбера... Французская зараза. Зачем поощряете скверномыслие?

Николай Иванович затруднился. Большой, грузный митрополит смотрел на него тяжелым взглядом.

— Слово не есть преступление, говаривала императрица.

Платон нахмурился.

— Вольтера читывала императрица. Однако автор — безбожник.

— Согласен, ваше преосвященство. Но пусть наши христианские писатели состязаются с ним в блеске ума.

— Что состязаться с писателем ядовитым и пустым? Полно. Не одобряю издание сих книг.

— Мнение вашего преосвященства для нас дорого, — сдержанно отвечал Новиков, с тоской вспоминая непутевых французов. Они лежали у него на складе, тихие и покорные, в кожаных переплетах, но стоило открыть страницы, и их мысль обжигала. Они стали его детьми, но разве можно выгнать детей на улицу, даже если они говорят дерзости?

— Книги же, способствующие просвещению, издавать желательно, и в сем направлении поддерживаю.

Платон отодвинул вазочку с вареньем и начал испытывать Новикова в началах веры. Николай Иванович отвечал твердо и откровенно. Суровый взгляд митрополита постепенно теплел.

Платон благословил гостя и отпустил с миром.

В донесении государыне он писал: «Как пред престолом божьим, так и пред престолом твоим, всемилостивейшая государыня императрица, молю всещедрого бога, чтобы во всем мире были христиане таковые, как Новиков...»

Он знал, что эти слова не понравятся императрице, но решил их оставить и продолжал: «Что касается книг, напечатанных Новиковым, то доношу, что среди полезных и содействующих образованию есть книги зловредные, развращающие добрые нравы и ухищряющие подкапывать твердыни нашей веры. Сии гнусные и юродивые порождения так называемых французских энциклопедистов следует исторгать, как пагубные плевелы, возрастающие между добрыми семенами...»

Типография была опечатана, и лавки закрыты, лишь два типографских стана были заняты учебниками. Нико-

лай Иванович целыми днями сидел в аптеке, помогая Багрянскому взвешивать лекарства, принимать и выслушивать больных. Ждали приезда графа Безбородко, которому императрица поручила выяснить, какие злонамеренные книги издаются в Москве в вольных типографиях и прежде всего у Новикова.

Фалалей перестал бить банки, день и ночь учил немецкий язык, собирался ехать в Германию, изучать философию и медицину. Стал он очень важным, купил трость с серебряным набалдашником, которую, впрочем, прятал, когда видел Николая Ивановича.

Безбородко промчался по Москве в своей восьмистекольной карете, позолоченная сбруя горела на лошадях огнем. Громом поразил Безбородко Москву и затих надолго. Не слышно, не видно. Московские жители любопытствовали, подсматривали за всесильным графом, передавали друг другу: «Его сиятельство балетом тешится... Балерины все прехорошенькие, а одной, итальянке, преподносит по пяти тысяч в месяц».

Николай Иванович ждал вызова, но Безбородко словно забыл о нем. Книжный ручеек, текущий от типографских станов, иссякал. По Москве передавали царицыны слова: «Аренду университетской типографии Новикову не продлевать. Он опасный человек, фанатик».

Тогда Николай Иванович решился нанести визит сам. Он составил просьбу и отправился к графу.

Два дюжих лакея долго допрашивали, зачем и по какому поводу. Потом ввели в залу и приказали ждать.

Из внутренних комнат слышалась музыка и чей-то смех. Металлическая птица, сидевшая на циферблате больших часов, со звоном взмахивала крыльями каждые четверть часа. Медведь скалился на посетителя, распростершись на полу плоским немощным телом.

Птица взмахнула крыльями дважды, и тогда на медведя ступила нога в туфле, украшенной брильянтами. Новиков поднял глаза и вскочил. На медвежьей шкуре

стоял Безбородко, коротконогий, с грубым крестьянским лицом, одетый в халат, и ласково улыбался.

— Вот ты какой, Новиков. Строптив, а по лицу не скажешь. Как будто добряк?.. Впрочем, внешность обманчива. Я вот однажды оделся простецки и пошел гулять пешком, а мне надавал тумаков жандарм, приняв меня за мастерового. На другой день я подъехал к нему в карете. Он упал в обморок. Ха-ха! Ну да ладно... Что ж ты хочешь, Новиков?

— Я хочу, чтобы дело не останавливалось. Чтобы было решение о моих типографиях. Иначе я разорен...

— Ах, вот как, — Безбородко уселся на диванчике и подтянул сползшие чулки. Сверкнули брильянты на туфлях. Граф задумчиво почесал ногу. — Ну что ж, в чем препятствие? Издавай свои книги, если тебе нравится. Каждый волен это делать, ведь типографии вольные — сама государыня на это указала.

— Но типографии и лавки опечатаны.

— Пустяки. Сейчас мы твоему горю поможем. Ведь ты честный человек, Новиков?

Николай Иванович смутился.

— Я всегда считал себя честным человеком. Но имя мое очернили нелепыми слухами.

— А... — Безбородко махнул рукой и позвонил в колокольчик.

Вошел писарь с чернильницей и бумагами.

— Пиши!

Граф отставил ногу, и чулок снова сполз. Он подтянул его и, стоя так, изогнувшись, быстро перечислил по памяти:

— «О заблуждениях и истине», «Апология, или Защищение вольных каменщиков», «Братские увещевания», «Хризомандер. Аллегорическая и сатирическая повесть», «Карманная книжка», «Парацельса химическая псалтирь» — вот шесть. Масонская чепуха, про эти книги и думать забудь!

Безбородко взглянул на ошарашенного издателя хитрыми, свиными глазками.

— А остальное пожалуйста! Хоть дьявольскую грамоту... Впрочем, ее не советую издавать.

— Благодарю вас, ваше сиятельство. Я буду издавать прежде всего несомнительные книги: азбуки, грамматики, лексиконы, географические книги, сказки...

— Я сказал: завтра получишь список с наименованиями книг предосудительных. Послезавтра начинай работу. Все. И не мешай мне предаваться искусству...

Граф, потрепав Новикова по плечу, устремился в комнаты, откуда звучала музыка.

Снова гремели станки, и возы, полные книг, покидали типографский склад.

Безостановочное движение машин, запах кожаных переплетов, крики извозчиков были лучшим лекарством для Новикова. Он успокоился и до ночи просиживал над рукописями. Жизнь покатилась по привычной колее.

Год прошел спокойно. Однажды весной, подъезжая к Спасским воротам, Новиков увидел Алексеева. Заметив врага, протоиерей бросился прочь по Садовой.

В тревоге Николай Иванович пошел на склад и остановился от неожиданности. Посреди двора горел костер, в который чиновник из губернской канцелярии бросал книги. Маленький капрал метался между костром и складом, хватая полицейских за рукава.

— Извините, господин Новиков, за небольшую неприятность, — вежливо поклонился чиновник, — но согласно указаниям графа Безбородко мы изъяли некоторые книги для вашего и нашего спокойствия. Странно, что мы обнаружили их... Ведь граф говорил вам...

— Эти книги лежали на складе. Они не распространялись.

— Теперь уж точно не будут распространяться, — с улыбкой возразил чиновник.

Облесимов был как в лихорадке. Он отталкивал жандарма от дверей склада, бил его ключами, плакал.

— Оставь, — сказал ему Новиков, — пусть роются.

— Ведь мы не варвары какие, — заметил чиновник, — только шесть названий. Для вашего и нашего спокойствия.

Новиков взял маленького капрала под руку и увел в дом.

Старик занемог. Он дрожал и, рыдая, просил прощения:

— Не доглядел, пес ничтожный. Дьявол попутал, открыл им склад. Ах горе! Знал бы, нипочем не пустил. Господи, за что же?!

— Не убивайся. Может, оно к лучшему.

Но Облесимов не мог успокоиться. Вечером он вдруг потерял сознание, начал бредить. Новиков не отходил от постели. Доктор Багрянский пустил больному кровь, но ничего не помогало: к утру капрал скончался.

После похорон Николай Иванович распорядился заложить лошадей. Филипп не спрашивал, куда ехать, и они стали кружить по Москве.

Тихо ступали лошади; Филипп молчал присмирев; темнели безглазые, закрытые ставнями дома Замоскворечья; будочники угрюмо провожали глазами коляску; на улицах редко попадались прохожие; глухо за заборами лаяли собаки. Город, столь радостно встретивший после Петербурга, теперь казался враждебным.

— Езжай к Щербатову.

У Щербатовых долго не открывали, и лакей все допытывался, по какому делу, и открыл только тогда, когда Николай Иванович, осердясь, закричал, что пожалуется на него князю.

— Нету князя, — угрюмо объяснил он.

— Не ври. Коль в окнах горят старинные свечи из желтого воску, князь дома. Княгиня ставит нынешние, белые...

Лакей охнул от догадки и сокрушенно сказал:

— В саду гуляет.

Николай Иванович отыскал князя в отдаленном углу сада. Увидев гостя, Щербатов метнулся за дерево, что-то прикрывая полой халата.

— Ах это вы! — пробормотал князь.

Он опустил предмет, который прятал, на землю рядом с вырытой под деревом ямкой. Это был маленький железный ящичек.

— Вот истина, которую я зарываю, — торжественно сказал Щербатов.

— Михаил Михайлович, не убивайте меня загадками. Я уж и так еле живой.

Щербатов опустился на колени, раскрыл ящик и достал оттуда стопку скрепленных бумаг.

— Сей труд носит название «О повреждении нравов в России». Все, что я вам когда-то говорил, усилилось троекратно в этом царствии поганом. Все принесено в жертву любострастию императрицы. Ни чистой дружбы, ни долга перед отечеством не осталось в ее фальшивом сердце... Она столь переменчива, что за ее приказами не уследить. Государством управляет ее баловень Платон Зубов. Седые генералы несут Платоше кофий в постель. Что же вы молчите?.. Наконец-то вы молчите... Сказать вам нечего. И я молчу!.. И зарываю в могилу то, что осмелился произнести мой язык. Конец... Может быть, внуки прочитают... Ни слова о том, что видели, ни слова!

Щербатов положил ящичек в яму и стал лихорадочно забрасывать его землей. Он плотно примял холмик и бессильно сел на скамью.

— Вокруг голод, а она путешествует по Малороссии. Потемкин разбивает английские сады на ее пути. Да что на ее пути! Он сажает сады для себя, чтобы потешиться там несколько часов и ехать дальше. Для сей затеи у него англичанин-садовник и шестьсот помощников. Коли одно растеньице увядает, посылают курьера иногда за сотни верст в лес заменить увядшее.

Щербатов махнул рукой. Николай Иванович прибли-

зился к нему и тихо, как ребенка, погладил по голове.

— Князь! — Слезы выступили на глазах у Новикова. — Есть божье предначертание. Мы должны нести свой крест.

Поезд императрицы въезжал в Москву погожим летним днем. Улицы были забиты народом, люди низко склонялись, едва завидев шестерку царских лошадей, и, когда поднимали глаза, с огорчением убеждались, что так и не увидели долгожданную царицу: поезд пронесся, пока они гнулись в поклоне.

Кареты катили по узким московским улицам, по пыльной земле, высушенной бездождной весной и устланной по приказу властей сосновыми ветками. Солнце ласково и празднично грело уставших лошадей. Малороссия, Таврида, южные степи, воронежские леса, маскарады в Киеве, празднества в Туле — Великая, Малая и Белая Русь преклонялись перед благодетельной самодержицей. Теперь это счастливое путешествие подходило к концу.

Карета вдруг остановилась. Впереди послышались крики.

— Что случилось? — спросила императрица.

— Сейчас узнаю, ваше величество, — красавчик офицер-телохранитель спрыгнул на землю и побежал вперед.

Прошло не более минуты, поезд тронулся далее, и офицер, задыхаясь от бега, вскочил на подножку.

— Возы, ваше величество, помешали.

— Возы... Какие возы?

— С хлебом, ваше величество.

Она взглянула в окно. У перекрестка, приткнувшись к домам, стояли тяжело нагруженные возы с зерном, и мужики ломали шапку, низко кланяясь.

— Чьи? — спросила государыня.

— Установлено: Новикова, издателя. Закупил зерно для голодающих крестьян.

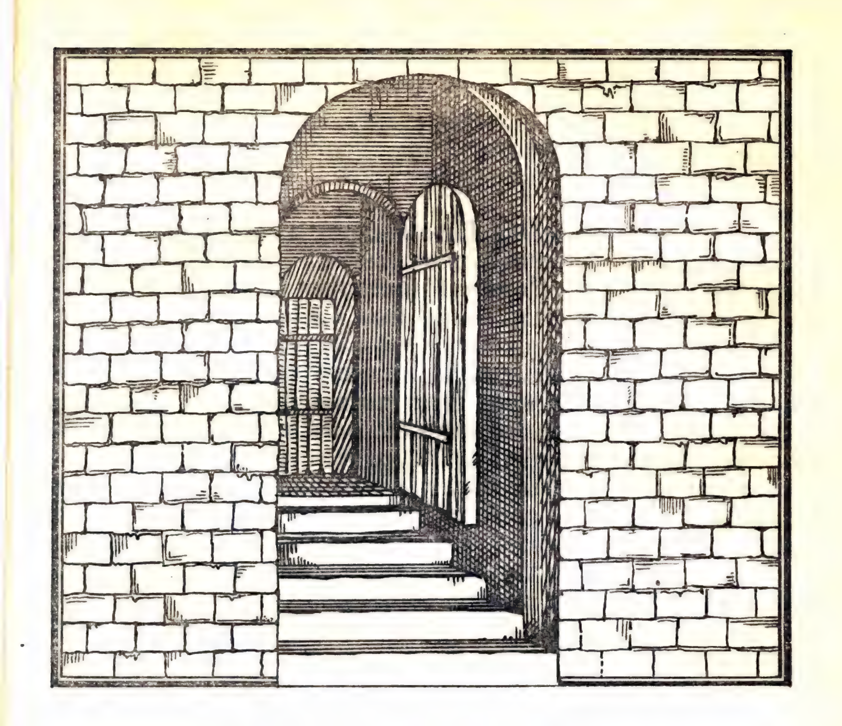
— И что же? — Государыня прищурилась. — Для чего?

— Кормить, ваше величество, — растерянно отвечал офицер.

— Как благородно, — без всякого выражения отозвалась Екатерина.

Откинувшись к спинке сиденья, она с досадой вспомнила упрямые, пристальные глаза длинноносого чиновника из Комиссии по Уложению. «Скажите, какой богач. Ах благодетель! Мало того, что он, самозванец, души человеческие по всей России похищает, но еще народ кормить вздумал! А где же деньги берет? Уж, наверно, на проценты живет, ростовщик, обманывает доверчивых. Дом продает, другой покупает, типографиями торгует. Как же я не раскусила этого ангела сразу...»

И, успокоенная собственной догадкой, она повеселела. Счастливое путешествие продолжалось.



ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ

Вести из Европы приходили с почти двухмесячным опозданием. Но подписчики «Московских ведомостей», которые выпускал Н. И. Новиков, читали их с неизменным любопытством. Особенно волновали бурные события, потрясшие Францию. Вот сообщение из Парижа от 13 апреля 1792 года, которое было опубликовано в газете лишь 2 июня: «Не проходит ни одной недели, в которую не было бы получено каких-либо неприятных известий о смятениях, господствующих во внутренности государства. Едва успеют в одной области утушить бунт,

как в другой мятежи восстают; словом, беспокойства, подобно ужасному землетрясению, одну страну после другой колеблют и всему государству угрожают всеобщим изпровержением».

Они шли домой на Никольскую по вечерним пустынным улицам. Тишина успокаивала. Гамалея, шедший рядом, вздыхал. Николай Иванович недовольно косился: что тут вздыхать — решено уж, подписано.

Час назад члены Типографической компании подписали акт об уничтожении компании и о передаче Новикову всех ее домов, книг, материалов, инструментов, аптеки — всего имущества и... всех долгов, коих насчитывалось триста тысяч. Теперь ему одному тянуть воз. Он сам предложил сделать так: ведь его, Новикова, вина, что останавливали машины, опечатывали лавки, запрещали торговать. По нездоровью он запустил дела и нанес ущерб Типографической компании. Ему и отвечать за оскудение славного союза...

...Смутное, непонятное пришло время. Во Франции взбунтовалась чернь, и Радищев за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» — за одну только книгу! — сослан в холодную Сибирь...

...Уж нет рядом супруги Александры Егоровны — осень 1791 года была последней. Он вспомнил ее слова перед смертью: «Береги детей... Ты все время забывал о них, обо мне». Он замычал от боли...

...Сейчас надо вести дело не столь широко, но пройдут годы, подрастут дети, станет легче. Может, и головокружения прекратятся. Тогда он снова развернет издание книг. Пройдет темная полоса в его жизни, не вечно же ей длиться. Дело притаится, а уцелев, сил быстро наберет. Фалалей уезжает в Германию. Вернется, пусть засучивает рукава.

На Мясницкой их обогнала коляска, в которой Новиков увидел знакомое лицо.

— Стой! — закричал Николай Иванович.

Коляска остановилась. Оттуда выглянул Ляхницкий. Он испуганно уставился на Новикова.

— Что же ты, братец, по ночам носишься, людей пугаешь! — заговорил Новиков, подходя. — Ну-ка подвези!

Ляхницкий со страхом втянул голову в плечи.

— Пошел! — хрипло бросил он кучеру.

Лошади поскакали. Николай Иванович, пораженный, остался стоять посреди улицы.

Князь Александр Александрович Прозоровский, московский главнокомандующий, старался ступать тише. Он знал, что матушка не в духе. Но делать нечего: вызвали из Москвы, мчался семьсот верст. Не дождешься хорошего настроения: говорят, неделю уж ходит как туча.

Прозоровский почувствовал себя счастливым, когда увидел светлую улыбку обожаемой государыни. Будто гора с плеч свалилась, и в умилении он припал к руке императрицы.

— Ну? Что же, князюшка, совсем забыл вдову. Никому теперь старуха не нужна, — горестно попеняла ему Екатерина.

— Каждый миг о вас помним, — горячо сказал Прозоровский.

Она усмехнулась.

— Что в Москве? — Ее тон изменился, она насторожилась в ожидании ответа.

— Москвичи всегда счастливы видеть вас, матушка. Очень скучают по вашему величеству.

Государыня взглянула холодно.

— Французы повсюду рассеялись. И в Москву эта зараза проникла. Бедная Франция, бедный добродетельный король! Все попало в руки варваров. Сказывают, что какой-то жалкий французик хочет убить меня. Вот до чего я дожила!

Прозоровский потрясенно простер руки.

— Матушка, если надо, телом вас прикрою. Не верю дурным сплетням. Москва всегда верна престолу. В Москве сейчас тихо.

Государыня засмеялась.

— В тихом омуте, знаешь? — Она с удовольствием вспомнила пословицу, щеголяя знанием русского языка. — Есть ведь черт в твоем омуте — Новиков. Умный, опасный человек. Фанатик.

— Что Новиков? Жалкий человечишко. Сейчас притих. Прикажете арестовать — арестую.

— Э, нет. Надобно найти причину!

Она погрозила пальцем. Князь близко увидел ее руку, прежде белую, на которой теперь отчетливо проступил желтый пергамент старости.

— Какой ты быстрый! Взял и арестовал! Только турки наказывают людей без причины, без следствия. А мы живем в государстве, где властвуют законы.

Она отошла к письменному столу и порылась в ящике. Вынула конверт.

— Вот пишут мне, что Новиков продолжает издавать злонамеренные книги о церковном расколе. Одна содержит мнимую историю об отцах и страдальцах соловецких, другая — повесть о протопопе Аввакуме. Злокозненные повествования, наполненные небывалыми происшествиями, ложными чудесами, дерзкими искажениями, противными и нашей благочестивой церкви, и государственному правлению поносительными. Тихо, говоришь, в Москве?

Монаршие слова падали, как камни, укором, и Прозоровский, задыхаясь, почти выкрикнул:

— Лицемера к допросу!

— Ежели причина подтвердится, то можно и к допросу, — спокойно молвила Екатерина.

— Как не подтвердится! — дрожа, отвечал Прозоровский.

— Не оставьте без внимания и то обстоятельство, —

продолжала императрица, — что Новиков, не стяжавший имения ни по наследству, ни другими законными средствами, ныне почитается в числе весьма достаточных людей. Откуда богатство? Может ли он оправдать свое бескорыстие?

— Лиходей! — убежденно говорил Прозоровский.

Она не отвечала, рассеянно роясь в шкатулке.

— Уж воистину: пусти козла в огород, потопчет всю капусту, — сказал Прозоровский, вспомнив про любовь государыни к русским поговоркам.

— Вот, смотри, Александр Александрович, — на ладони ее лежал кусочек дерева, — обломок Ноева ковчега. Корабль, который спас человечество. Знак созидания... Мы вечно помним тех, кто созидает. Презираем и забываем разрушителей, насмешливых, ядовитых, лукавых...

— Мудрые слова, — склонил голову московский главнокомандующий.

Услышав позади смех, майор Жевахов оглянулся. Гусары, разомлев от свежего весеннего воздуха, от долгой езды по раскисшей апрельской земле, болтали и пересмеивались.

— А ну! — грозно прикрикнул Жевахов.

С бугра открылось Авдотьино. Церковь незащищенно белела посреди деревни. Жевахов поправил саблю и потрогал пистолет. Гусары лениво, с усмешкой повторили его движения.

Майор отъехал в сторону, пропуская отряд. Сзади тащилась кибитка, которая постоянно застревала в грязи, несмотря на то, что она была пуста и только ждала своего пассажира.

Нехудо бы отложить арестование до того, как подсохнут дороги. Жевахов намекнул об этом Прозоровскому. Но Прозоровский и слышать не хотел. Глаза стеклянные, твердит: «Опаснейший преступник. Государыня самолично следит... Взять немедленно...» Только и



отложил вылазку на один день, ибо 22 апреля день рождения императрицы.

Жевахов хлестнул коня и проскакал снова вперед. Гусары посерьезнели, почуяв приближение дела.

Деревенские высыпали из домов, увидев чудо.

— Прочь! По местам!.. — закричал Жевахов, проводя рукой как бы невидимую черту, за которую нельзя было преступать. Мужики попятились, но назад не пошли, стали стеной.

Жевахов покрутился на коне перед крыльцом, но барский дом как будто обезлюдел, лишь чье-то лицо неясно мелькнуло в окне. Майор неохотно спрыгнул с коня, сразу потерял свое кавалерийское великолепие, став



низким, кривоногим, и, видимо, ощущая это, снова злобно закричал на крестьян:

— Я сказал, по домам!

Стена осталась стоять недвижимо. Гусары медленно спешивались. Мужики тихо переговаривались.

— За что ж на Николая Ивановича да такая армия?

— Золото, сказывают, делал.

— Ну!..

— Хлеб-то нам на какие деньги покупал?

— Ему, бают, один заводчик отвалил полмиллиона.

— Больно ты много знаешь — заводчик... Золото к нему в слитках возили, и он его в червонцы переделывал. Машина у него такая есть, чтобы монеты чеканить.

— А ты видел?

— Ее не увидишь. Как к нему с обыском, он ее на цепь и в речку, на самую глубину.

— Врешь все... В Северке не спрячешь.

— А ты послушай, что старшие говорят. Когда слитков у него не хватает, он золото из моркови гонит, а серебро из редьки.

— Ну-у... — мужики качали головами. — Николай Иванович умелец.

— Врешь все, — опять начал молодой парень. — И вовсе не оттого у Николая Ивановича денег много.

— А отчего?

— Книжками торговал...

— Книжками! Да разве от них разбогатеешь, ха-ха!

Мужики посмеялись с удовольствием, парень был посрамлен. Через час на крыльце появился Николай Иванович, поддерживаемый Багрянским. Сделав несколько шагов, Новиков повернулся к окнам. И вдруг раздался дикий крик. Из дверей выскочили неодетые мальчик и девочка с отчаянным плачем. Гусары перегородили им дорогу, и мальчик, споткнувшись, забился в судорогах на земле. Девочка вцепилась в рукав стража, рвалась и царапалась.

— Доктор! Возьмите их! Ради бога, останьтесь, умоляю! — кричал Николай Иванович.

Багрянский подбежал к мальчику. Гамалея уже хлопотал над девочкой. Гусары толпились в растерянности.

— Уберите детей! — хрипло скомандовал Жевахов.

Детей унесли в дом. Николай Иванович торопливо пошел к кибитке. Около нее он на минуту задержался и поклонился людям. Бабы завыли.

— Пошел! — приказал Жевахов кучеру.

Гусары прыгали в седла.

Кибитка шла по грязи медленно, и отряд сразу растянулся. На бугре Жевахов оглянулся на деревню, сиротливо прижавшуюся к церковке, и выругался сквозь зубы.

— Что? — не расслышал ехавший поблизости гусар.

— Я говорю, князь — скотина! Снаряжать нас, чтобы привезти старичонка скрюченного? Достаточно было послать десятского или будочника. Ах скотина!

— Высокая честь, — отозвался гусар.

Толпа мужиков около барского дома в Авдотьине рассеялась. Все в деревне примолкло.

Лишь около церкви толковали два мужика. Один был из Авдотьина, другой — из Заворова, по соседству.

— За что вашего барина арестовали?

— Сказывают, искал другого бога.

— Так он виноват. Что лучше-то русского бога?

Отряд двигался в молчании. Густели сумерки, и до Москвы гусары добрались ночью. Жевахов был рад, что никто из знакомых не видел его в таком деле.

После нескольких дней допроса Новикова князь Прозоровский, устав от борьбы с «тонким плутом», «человеком лукавым и коварным», «все скрывающим», послал донесение императрице с просьбой о помощи, ибо никто не может так распутать злодейские плутни, как тайный советник Степан Иванович Шешковский.

Через две недели возок с преступником, сопровождаемый гусарами под командованием майора Жевахова, отправился кружным путем через Владимир, Ярославль, Тихвин в Петербург, для допроса к Шешковскому в тайной экспедиции.

Они стояли на берегу Невы и ждали лодку. Ласково сияло северное небо, белая ночь была точно такой же, как и тридцать лет назад, когда он, преисполненный счастливых надежд, находился на часах у казарм Измайловского полка. Но теперь перед ним сумрачно темнела Шлиссельбургская крепость, грузно навалившись на остров посреди реки, заслоняя собой Ладогу.

Солдат поднял ружье и выстрелил. Тогда от острова неслышно отошла лодка. Багрянский, в последнее время очень молчаливый, вдруг оживился и сказал:

— Ну наконец отоспимся... На берегу моря.

— Кабы совсем не заснуть, — отозвался Филипп.

Лодка грозно увеличивалась в своих размерах, весла тихо погружались в воду.

— Доктор, очевидно, вы скоро вернетесь... — сказал Николай Иванович.

— Вместе с вами, — прервал Багрянский.

— Перестаньте! Важнее, если вы поможете детям...

— Важнее помочь вам...

— Добровольное заточение — нелепость!

— Я устал от светской жизни. Повторяю, мы выйдем вместе: здоровье государыни ослабло.

— Нет, это подлость — надеяться на ее смерть. Она поймет, что мы невиновны... и освободит нас.

Багрянский пожал плечами.

— Я предпочитаю надеяться на ее больную печень и никуда не годные вены на ногах...

Новиков молча стал сходить к лодке.

Голова закружилась, когда он услышал это имя, шелестящее вкрадчиво и угрожающе: Шешковский. Николая Ивановича вывели из каземата и приказали идти к цитадели. Крепостные стены наглухо закрывали море, только чайки взмывали над башнями, с криком принося вести о ладожских просторах.

Николай Иванович чувствовал слабость, задерживал шаги, и чиновник, сопровождающий его, ласково говорил: «Ничего, у Степана Ивановича отдохнете...»

Новиков сердился, внутренне презирал себя, но ничего не мог поделать: голова кружилась. В Москве у Прозоровского он справился со своей слабостью, здесь же силы оставили его. Он крепился до той минуты, пока не узнал о том, что дети заболели. Тогда все поплыло перед глазами.

Они вошли в здание цитадели, примыкавшей к Светличной башне, где был убит император Иоанн Антонович.

— Вот здесь дверца, — предупредительно сказал чиновник, остановившись у глухой стены. Он ткнул в стену, и стена подалась, обнажая малозаметную дверь.

Они вошли в большую комнату под сводами, сплошь уставленную иконами. Горели свечи над тяжелым, массивным письменным столом, светились лампады в углах. В комнате было сумрачно, и Николай Иванович не сразу разглядел человека, склонившегося перед образом. Чиновник вышел. Николай Иванович слышал глухое бормотание молящегося. Прошло минут пять, бормотание смолкло. Человек слегка распрямился, и Новиков заметил его быстрый пытливый взгляд. Потом снова раздались слова молитвы, и снова потянулись томительные минуты ожидания.

Потрескивали свечи, и, когда одна из них зачадила, изогнувшись, человек вскочил с колен и, плюнув на пальцы, отщипнул конец истлевшего жгутика. Обжегшись, он потряс пальцами, потом запечалился, перекрестился, опять склонился перед иконами.

Он повернулся к Николаю Ивановичу с укором и долго глядел молча. Глаза его наполнились слезами.

— За тебя молился. Просил господа вывести заблудшую овцу из тьмы прегрешений.

— Вы Шешковский? — прошептал Новиков, чувствуя подступающую дурноту.

— Меня в России все знают, а ты не знаешь, — ласково попенял тот. — Меня Степаном зовут, а по батюшке Иванович. Видишь, Ивановичи мы с тобой. Садись, садись, ну что ты оробел?.. Ишь побледнел. Не надо пугаться Степана Ивановича, не надо, он добра людям желает.

Новиков сел, держась за спинку стула. Степан Иванович покачивался, разрастался, опадал, как пламя свечи, терялся где-то в сумраке.

— Злые люди небылицы про Шешковского плетут. Ох, сколько на свете злых людей!

Дурнота прошла. Перед ним стоял, приняв обычные

формы, знаменитый «главный кнутобоец» России. Странно: он представлял его раньше громадным мужчиной с мощными руками, способными сломать хребет любому. Невысокий худощавый человек с грустными глазами озабоченно потирал тонкие пальцы.

— Вот и ты не веришь мне. Думаешь: злодей. А разобраться: злодей ты!

— Виновен перед всемилостивейшей государыней, виновен в небрежности, недогляде, но злодеем себя назвать не могу, — отвечал Новиков.

— Не можешь?..

Шешковский приблизился. Глаза заблестели остро.

— Как же ты не злодей, ежели немцам продался? Ежели ты шпион и заговорщик?

— Нет! — крикнул Новиков. — Нет!

— Нет? А шашни с герцогом Брауншвейгским и принцем Гессен-Кассельским? А заманивание его высочества великого князя Павла Петровича в немецкие сети?

— Нет, — твердил Новиков. — Нет. Чист перед богом и перед ее величеством...

— Молчи! — с ужасом закричал Шешковский. — Не поминай имя божье всуе! Преступник, ты должен чистосердечно открыться и раскаяться, но не клясться и божиться!

Шешковский отвернулся к иконе, забормотал молитву. В дверь неслышно вполз чиновник и сел в стороне, приготовившись писать.

Укрепившись духовно, Шешковский кивнул писарю:

— Отметь: нигде не служил и в отставку вышел молодым человеком, что постыдно. Ничем не занимался, только в ложах. Следовательно, не исполнял долга служением ни государю, ни государству.

— Служил государству, пекся о благе его, о просвещении, — возразил Николай Иванович.

— Молчи! Шпынь! Пся крев! — закричал Шешковский.

Он схватил суковатую палку и подступил к арестанту:

— Лжец!

Шешковский замахнулся. Свечи померкли. Николай Иванович потерял сознание.

— Он очень труслив, — сладостно улыбаясь, говорил Шешковский Багрянскому. — Все вы, мартинисты, трусливы. И государыня меня в том убеждала: «Степан Иванович, они робки душой. Они прячутся в своих ложах как кроты. Они подрывают здание, которое я строила. Они плетут заговоры в своих темных норах. Они не смеют громко изъявить свое мнение. Они лают из подворотни...» Я, ничтожный, в сомнениях пребывал: так ли? Но теперь уж мне ясно. Шакалья порода: махнешь рукой, поджимают хвосты.

Лицо Багрянского горело пятнами.

— Послушайте, вы говорите вздор!

— Ах, вздор! — Степан Иванович заулыбался еще слаще. — И государыня вздор говорит?

— И государыня! — холодно сказал Багрянский.

Потолок обрушился. Шешковский, как слепой, шарил в воздухе руками, ища спасения. Он разевал рот — воздуха не было.

Багрянский улыбался, глаза его сияли. Ах, трусы... Погоди, ты узнаешь, какие трусы мартинисты.

Шешковский отер лицо платком. Потолок и стены снова оказались на своих местах.

— Что ж, а преступные заговоры ваши тоже вздор?

— Нет, не вздор, — спокойно ответил Багрянский.

Шешковский вскочил от неожиданности...

— Так... Может, вы расскажете кое-что о вашей мерзкой деятельности? Может, вы разъясните мне, — Шешковский приблизился к доктору, — как мартинисты связаны с французом Басевилем, который пробрался в Россию, чтобы убить государыню?

— Басевиль должен был остановиться в Москве у меня. Больше он ни с кем не был связан.

Шешковский окаменел. Он впился глазами в Багрянского, но тот отвечал ему взглядом прямым и дерзким.

— Ведаешь ли ты, что означает твой преступный замысел?

— Знаю.

— Ведаешь ли ты, что наказание тебя ждет отменное? У тебя отрубят сначала руки, потом голову, а требуху бросят на съедение собакам?

— Приятно знать про такие подробности. Обычно ведь человек ничего не знает о своей смерти.

Шешковский подбежал к секретарю, записывающему слова арестанта, и вырвал у него перо.

— Уходи! Уходи!

Секретарь ушел с растерянным видом. Шешковский упал в кресло и долго оставался недвижим.

— Итак, правильно ли я тебя понял? — медленно заговорил он. — Ты ожидал приезда Басевиля, чтобы укрыть его.

— Да.

— А что потом бы делал Басевиль?

— Он убил бы князя Прозоровского.

— Так... А потом бы убил меня?

— Нет. Вас бы просто высекли и снова бы отправили в Сибирский приказ, как и прежде, переписывать бумаги...

Шешковский стал смеяться. Он смеялся долго, взвизгивая, всхлипывая, с облегчением хлопая себя по коленкам. Потом устало откинулся к спинке кресла, взглянул пустыми глазами.

— Вон! Убирайся!

Багрянского увели.

Шешковский взял запись, сделанную толстеньким чиновником, и поднес ее к свече.

Огонь сразу охватил бумагу, пепел упал на блюдо. Никто не должен знать о том, что на жизнь государыни могло быть покушение. Никому и в мысли не должно

этакого прийти. Бумага опасна, она будет рождать легенду — так пусть она здесь и умрет.

Степан Иванович растер пепел пальцами и дунул. Печальное черное облачко тихо опустилось на пол.

Доктора надо основательно наказать. Ишь храбрец! Или наградить! Ведь он дал интересные сведения.

Шешковский вздохнул: жаль, что эти сведения нельзя пустить в дело. Двухмесячные поиски уже неопровержимо доказали, что никакого Басевиля не было на свете. Слух о нем распустили неуемные московские врали...

Но каков доктор! Ах каналья... Сам лезет в каменный мешок. Не чета этому слабонервному Новикову.

Николай Иванович очнулся, почувствовав на себе чей-то взгляд. Он пошарил рукой и нащупал холодный грубо кованный край кровати. Могильная тюремная тишина.

Он повернул голову и увидел сидящего перед ним Багрянского.

— Плохо, доктор. Я стал совсем развалиной.

— Не мудрено.

— Вас допрашивали?

— Я наговорил, должно быть, много лишнего. Я сказал, что был с Басевилем заодно.

— Вы с ума сошли... Зачем же?

— Он называл нас трусами... Я доказал, что это не так.

Николай Иванович привстал.

— Теперь нам конец.

— Теперь он нас будет больше уважать. Если бы вы видели, как его перекосило!

Николай Иванович молчал.

Доктор беспокойно заерзал.

— Нет, нет... вы не должны страшиться. Шешковский испугался самого известия, он теперь сам будет осторожнее.

Николай Иванович медленно спустил ноги с кровати. Лицо его стало спокойным и просветленным. Шаркая, он подошел к окну, из которого виднелся кусочек голубого неба, поднял голову и тихо сказал:

— Благодарю тебя, господи, за испытания. Выпью чашу до дна...

Багрянский широко открытыми глазами следил за Новиковым. Потом уронил голову на руки.

— Я повинюсь, я попрошу прощения... Но пусть, — он вдруг всхлипнул, — пусть он не зовет меня трусом...

Из окон была видна Нева. Степан Иванович глядел на ее величественное, неторопливое течение и чувствовал себя цезарем. Государыня распорядилась отвести ему комнату в Зимнем дворце, и он отдыхал в ней после многотрудных дел.

Степан Иванович садился в креслице и думал о жизни. Судьба милостиво отнеслась к нему. Подьяческий сын, с одиннадцати лет мыкавшийся в канцеляриях, дерганный за уши, битый, настрадавшийся от лютых морозов за время службы в Сибирском приказе, пинаемый, презираемый всеми, ныне тайный советник, обласканный императрицей, властительный глава тайной экспедиции.

Матушка отметила его «особливый дар производить следственные дела». Уж как рада она была, что он вывернул Пугачева наизнанку и узнал, откуда попало к нему голштинское знамя, принадлежащее покойному царю Петру Федоровичу, и какой офицер-изменщик передал его вору. Уж как довольна-то была! Сама повесила ему на шею орден. А уж как нервничала...

И сейчас нервничает. И не всякий поймет почему. Он знает, отчего тревожится императрица. Вольные типографии — вот беда! И закрыть бы их рада, но ведь сама разрешала. Расходится из них эта французская зараза, калечит русские души.

И еще одно тревожит государыню — сын. О нем

она молчит, но Степан Иванович знает: не спит государыня. Страх одолевает: зарежет сын матушку, как она прикончила его папеньку.

Убеждена она, что в тайных масонских ложах скрываются заговорщики, елейными, тихими речами о братстве людей прикрывают свои преступные связи. Тянутся связи эти от особы великого князя Павла Петровича к московским масонам, оттуда за границу к пруссакам, к берлинскому министру Вельнеру и герцогу Брауншвейгскому, к принцу Гессен-Кассельскому. И кому, как не ему, Степану Ивановичу, распутать эти черные связи и успокоить матушку в ее светлой старости.

Басевиль... Мираж... И этот сбесившийся доктор. Нет, о нем ничего нельзя говорить. Уже доложено матушке: Басевиля нет, Басевиль — выдумка. Нужно ли тревожить ее снова?

Доктор дерзок. Ну и не таких он, Степан Шешковский, обламывал...

В дверь постучали. Сам Александр Васильевич Храповицкий, секретарь ее величества, явился пригласить начальника тайной экспедиции к государыне.

Екатерина ласково протянула ему руку для поцелуя.

— Что наш смутьян?

— Упрям и злобен, матушка, — отвечал Шешковский. — Мучение.

— Вот и князь Александр Александрович на него жаловался: смел и дерзок.

— В смелости его Прозоровский ошибся. Смею заверить: при своем упрямстве Новиков трусоват.

— Вот и я думаю, бесчестный не может быть смелым. Не может быть смелым жадный, корыстолюбивый человек. Мне покойный Потемкин сказывал, что Новиков добряк, мухи не обидит...

— Очень искусная личина, матушка.

— И я думаю, притворщик. Я помню, он был издателем «Трутня», очень желчным господином, ругателем всех и вся. С той поры не изменился... Но будь беспри-

страстен, Степан Иванович! Все выясни: и насчет их тайных сборищ, и насчет клятв с целованием злато-розового креста и неподчинением правительству, и насчет переписки с пруссаками, и об уловлении в секту великого князя, и об издании зловредных книг.

— Днем и ночью неустанными трудами...

— Верю, верю... Достоин награды.

— Не ради наград живу.

— Верю. Но ты не обижай себя. Вот Новиков тысячами ворочал, и все ему было мало. Голодных кормил, прикрывал личиной свою корысть. А ты сколько трудишься в безвестности, не выставляешь своих заслуг. Здоровье надо беречь. Бледен-то как! Тебе в деревне отдохнуть нужно. Купи себе имение, я денег дам.

— Матушка, я дела еще не совершил и недостоин награды.

Екатерина глянула с нежностью и встала.

— Помни: время смутно. Во Франции варвары терзают короля. Как бы к нам их растление не проникло.

— Не проникнет, матушка. Наш народ крепкого душевного здоровья.

— Дай-то бог!

У дверей она обернулась. Ее лицо исказилось.

— А не будет Новиков отвечать, бей его четвертным поленом. Бей по его вздорной голове! Господи, прости меня!

Она перекрестилась и вышла.

— Ты пишешь, что стоял на часах у моста, когда ее императорское величество явилась к вам в Измайловский полк?

— Для меня и для отечества это был счастливейший день, — говорил Николай Иванович.

Они снова сидели друг перед другом, но уже не в темной, уставленной иконами комнате, а в большой, светлой, с открытыми окнами, выходящими в крепостной двор. В прозрачной нежно-зеленой листве дерева

за окном прыгало солнце и скакали, галдя, воробьи. Шешковский потирал руки, жмурился, наслаждался божественным деньком. Все, казалось, радовало его, только огорчал допрашиваемый.

— Как ты пал с того дня! — сказал Степан Иванович с грустью. — Ты пишешь, что стремился к истинному масонству, далекому от политики, и искал лишь нравственного исправления на стезях христианского нравоучения. Но ты врешь! Переписка твоя с пруссаками свидетельствует о том, что ты и твои товарищи предались иноземцам в совершенную подчиненность.

— Переписку с Берлином вел один из масонов по имени Шварц. Я спрашивал его: нет ли в том чего-нибудь против государей? Он отвечал: нет! и поклялся в том. После смерти Шварца переписка оборвалась.

— А Кутузова зачем в Берлин послали?

— Для знакомства с орденским злато-розового креста учением и для упражнений в химических опытах.

— Черная магия, — равнодушно сказал Шешковский.

Николай Иванович смотрел в окно на скачущих по дереву воробьев, и только они казались ему реальными существами. Все, что происходило здесь, было вне его сознания. Звучал ровный голос Шешковского, он отвечал ему, но это как будто происходило не с ним, Николаем Ивановичем Новиковым, который уверовал, что делает в жизни благо, а с каким-то другим, странным, запуганным, лукавым человечком, пачкающим все святое. И этот человечек, убежденный в своей преступности, божится и виляет, стыдясь тихого и спокойного взгляда другого Новикова, которому незачем страдать от угрызений совести.

Шешковский продолжал спрашивать про герцога Брауншвейгского, про князя Куракина. Он не менял тона и так же ровным голосом, как заведенный, диктовал секретарю возражения, из которых выходило, что ни одного слова правды Новиков не сказал.

Вдруг Шешковский замолчал. Он подошел к окну.

— Ах, благодать какая! Жить бы и радоваться. Но иные губят себя и других.

Шешковский печально склонил голову, прислушался к созревшей в нем мысли.

— Удивляюсь, как это человек себя таким благородным может выказывать? О христианских добродетелях рассуждать? Юношество поучать? Как это согласуется?

Его глаза вспыхнули.

— Книги, отвращающие людей от церкви и христианской веры, кто распространял?

Он словно встряхнулся, сбросив с себя бред предыдущих вопросов. Книги были реальностью.

— Кто сеял плевелы?

Степан Иванович наслаждался. Он подошел к Новикову, нежно склонился над ним.

— Виновен, — с усилием сказал Николай Иванович. — К стопам ее величества повергаю, осмеливаюсь испрашивать милосердия.

— О! — строго выпрямился Шешковский. — Милосердия ее величества надо заслужить! Отчего печатал запрещенные книги, на которые еще граф Безбородко указывал?

— Печатаны книги после запрета не были.

— А вот князь Прозоровский выяснил, что были. Запирательства твои напрасны. И что за подвиг себе выдумал — по ярманкам те вредные книги рассылать? Кто в оном помогал?

— Я уже показывал, что согласился передать книги купцу Кольчугину по необдуманности о важности сего поступка. Злого намерения не имел.

— Ну а побуждение? Побуждение каково?

Николай Иванович взглянул на Шешковского. Тот весь дрожал от нетерпения. Что ж его так ломает?.. Ах, вот что... Ну пусть так и будет...

— Побуждения, — отвечал медленно Новиков, — никакого не было, кроме корыстолюбия.

— Вот! — счастливый, воскликнул Шешковский. — Корыстолюбие!

Он ликовал. Гора свалилась с плеч. Облик злодея был ясен.

— Пиши! — прокричал Степан Иванович толстенькому секретарю. — Пиши, как сказано: «...побуждения никакого не имел, кроме корыстолюбия».

Шешковский порхал по комнате, солнце обливало его радостью.

— Отправьте в каземат! Пусть отдыхает! Два дня пусть отдыхает! И кормите, кормите хорошо!

Николай Иванович поднялся с тяжелым сердцем. Радость Шешковского была оскорбительной.

На следующий день темная, наглухо закрытая карета выехала из Петропавловской крепости. Прокатила с громом через мост, миновала памятник Петру, остановилась у Сената, позади здания, у неприметной двери, ведущей в комнаты тайной экспедиции.

Из кареты вышел жандарм, лениво оглянулся.

— Ну?

Никто не отозвался.

— Прибыли, господин звездочет, — жандарм захихикал.

Ответа не было по-прежнему.

— Черт возьми, господин академик, нет моего больше терпения!

Он сунул голову в карету и стал вытаскивать слабо сопротивлявшегося человека.

Это был Фалалей. Он держал книжку в руках и щурился от яркого света.

— В Берлине обхождение, конечно, иное, у нас попроще, — говорил жандарм, запирая дверцу кареты.

Фалалей, не отвечая, озирался.

— Шагай! — жандарм толкнул его в спину.

Фалалей пошел быстро, чтобы не получить второго тычка. Шешковский встретил его улыбкой.

— Книжки почитываем?

Фалалей глянул хмуро, продолжая машинально перебирать страницы:

— А разве это предосудительно?

— Есть книги, подобные укусу змеи.

— Нет таких книг. Есть книги, с которыми я соглашаюсь или не соглашаюсь.

— Однако ты рассуждаешь? Кто же тебя этому научил?..

— Николай Иванович Новиков — мой учитель.

— Так, так... Яблоко от яблони... А ну-ка брось книгу!

— Это редкая медицинская книга на немецком языке.

— Брось вот сюда... на пол.

— Глупо бросать ни в чем не повинную книгу.

— Брось!

— Кто вы такой?

— А ты не знаешь, где ты?

— Не знаю.

— Как не знаешь! Ты в тайной экспедиции.

— Не знаю, что такое тайная экспедиция. Пожалуй, разбойники захватят человека и в лес заведут, в свой притон, да скажут, что это тайная экспедиция, и допрашивать будут. Им тоже верить?

Шешковский привстал от изумления.

— Государыня приказала бить тебя четвертным поленом, коли не будешь отвечать.

— Не верю, чтобы это приказала государыня, которая написала Наказ комиссии о сочинении нового Уложения.

Шешковский схватил со стола какую-то бумагу и приблизился к Фалалею.

— Вот записка ее величества о том, что ты немецкий шпион.

Фалалей всмотрелся: «допросить как следует» было написано.

— Не знаю руки ее величества. Может быть, заставили написать жену свою и показываете мне руку ее вместо государыниной.

Шешковский пожевал губами, пристально глядя на допрашиваемого.

— Да ты знаешь, кто я?

— И того не знаю.

— Я Шешковский.

— Слыхал я про Шешковского. Да вы ли это, не знаю. А впрочем, у меня с Шешковским дела никакого нет и быть не может. Я принадлежу университету и по его уставу отвечать должен не иначе как при депутате
11 университетском.

Шешковский, закрыв глаза, неслышно молился. Только стянутые в узкую полоску губы свидетельствовали о его предельном напряжении и гневе. Окончив молитву, Шешковский взял в руки суковатую палку и встал перед Фалалеем.

— Ну, немецкий таракан, рассказывать будешь?

— Грубости я не переношу.

— Зачем тебя посылали в Берлин? Что ты там делал? Где письма к Новикову? К герцогу Брауншвейгскому? К министру Вельнеру?

— Вздор...

— Отвечай!

Шешковский выставил вперед палку. Фалалей слегка отвернулся.

— У вас манеры, как у моей покойной, царство ей небесное, матушки Акулины Сидоровны. Она себя тоже надсадила, допрашивая, кто перешиб поленом Налетку.

Шешковский в бешенстве ударил Фалалея в подбородок. Тот рухнул на пол.

Доктора допрашивали спустя три дня: уж так расстроился Степан Иванович от ответов Фалалея. Был он тихий и печальный и с грустью стал выговаривать Багрянскому за его дерзость.

— Эх лихачи... Как бабочки на огонь летят: красиво погибнуть. А ты вот красиво и правильно живи!

Багрянский не отвечал.

— Ты вот чего мне наговорил, а я все забыл, все из головы выбросил, потому что сердце болит за неразумных. Гордыня вас соблазняет. В писании сказано: «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее: лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержену в геенну, в огонь неугасимый». Я тебя прощаю, потому что, если бы я не простил, тебя бы на виселицу пришлось отправить... А ты молод, тебе жить надо. Тебя в крепости оставят, здесь будет время подумать. Обещаешь мне обдумать свою жизнь?..

Багрянский не отвечал.

— Куда ж твоя храбрость делась? Ее хватает, чтобы дерзости мне кричать. Вина твоя очевидна, переводы развращенных книг ты делал — этого достаточно, чтобы тебя под замок. А от виселицы тебя государыня избавляет, прощает твою горячность и ничего взамен не требует. Просит только обдумать свою жизнь... Обещаешь?.. Молчишь. Ну и правильно. Мысли нужно время созреть. Подумай.

Шешковский вытер платком скорбно слезящиеся глаза.

— Ты смел и смело вынесешь себе суд.

Доктор подавленно опустил голову.

— Ну вот видишь, как хорошо ты отдохнул, — говорил Шешковский Новикову, — теперь дело пойдет веселее.

Шешковский ласково улыбался. Он уже любил свою жертву. Любил негромкие, внятные ответы Николая Ивановича, его усталый, кроткий вид. Ему нравилось и разбираемое дело с его многочисленными связями, письмами, клятвами, скрытными заседаниями, обрядами, оттенками тонких политических отношений, которые он имел «особливый дар» распутывать. Здесь тайна на тай-

не, сложные ходы, как в шахматах. Только путали игру искренние ответы Новикова. Все упрощалось досадно, и преступные замыслы превращались в какое-то незамысловатое сплетение случайностей. Но Степан Иванович не даст делу упроститься, возражения написаны по каждому пункту допроса. В них указано, какая неправда таится в правдивых ответах преступника.

Сегодня предстоит выяснить крайне щекотливые обстоятельства: участие особы великого князя Павла Петровича в масонском обществе, что очень волновало государыню.

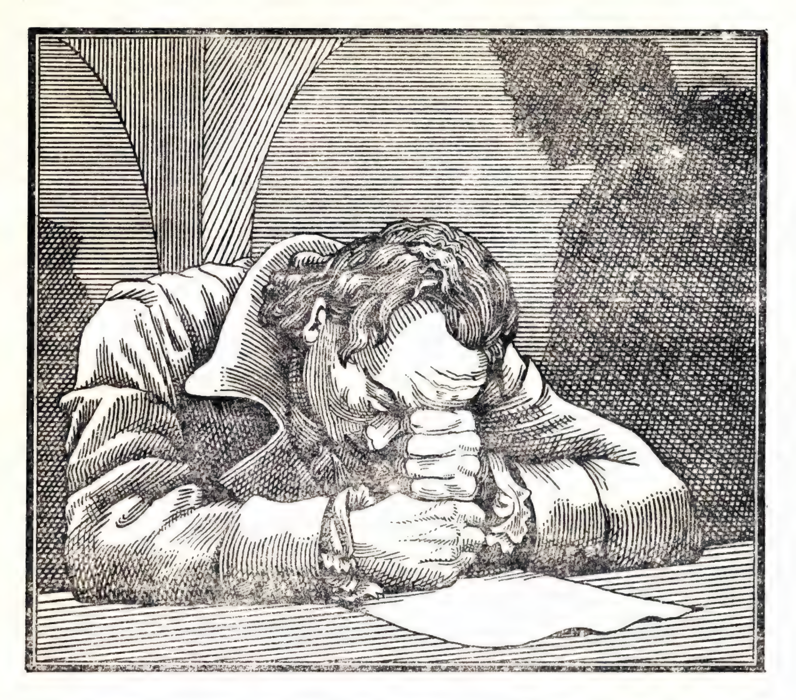
— Вот, — Шешковский издали показал Николаю Ивановичу бумагу, — найдено у тебя. Обличает злодейский умысел: уловить известную особу в ваши масонские сети. Что можешь сказать по сему случаю?

Новиков вздрогнул. Эта история, наверное, была самая мучительная. Он помнил страдальческое лицо Баженова, его слова, полные ненависти к императрице, помнил и свой неосторожный шаг — посылку книги. А потом письмо от Баженова, желание сжечь это письмо, переписывание его с намерением все-таки сохранить, и... вот оно в руках великого кнутобойца.

Николай Иванович начал рассказывать. Он сообщил о всех подробностях сношений с Павлом Петровичем, умолчав о ночном разговоре с Баженовым.

— Думать о введении той особы в орден я не осмеливался. Ожидал только милостивого покровительства... Другого намерения не было, а наипаче злого умысла. Мой поступок не имел никакого касательства ни к принцу Гессен-Кассельскому, ни к герцогу Брауншвейгскому.

Шешковский слегка вздохнул. Жаль: по рассказу и по всем бумагам выходило, что Павел Петрович так и не вступил в московские масонские ложи и не был прямо связан с немцами. Но утешало другое: признание Новикова в преступных действиях, в тайных связях с высокой особой. И Шешковский в возражении на ответ



с удовольствием велел записать: «В сем пункте сам признает себя преступником».

Далее он начал допрашивать о делании золота, о корыстных поисках философского камня. И опять оказалось, что тайны философского камня мартинисты не открыли и золота делать не научились.

Спросил о пятидесяти тысячах, которые дал купец Походяшин Новикову на прокормление крестьян в голодное время, и снова записал возражение, что и без «объяснения видно, что Походяшин коварно обольщен и обманут, ибо пятидесяти тысяч такому человеку, каков есть Новиков, поверить, да еще без всяких обязательств, никак невозможно».

Пытался узнать, какие надежды имели масоны на войну России с Англией, Голландией и Швецией, ибо сие рассуждение замечено в письмах Кутузова из-за границы. Но Николай Иванович, пораженный такими вопросами, только руками развел.

Свечи оплывали, секретарь менял их, снова записывались ответы, и снова Шешковский составлял возражения.

Наконец был записан пятьдесят шестой пункт, и начальник тайной экспедиции встал. Он отер лицо платком, истово перекрестился и прошептал молитву. Потом он положил перед Новиковым чистый лист бумаги, приказал изложить на нем свои просьбы и вышел.

«Да будет со мной воля ее императорского величества, — написал нетвердой рукой Николай Иванович. — Умилосердись, милосердная монархиня, над бедными сиротами, детьми моими...»

Перед ним встало в памяти кроткое личико Вани, он услышал тихий голосок старшей дочери Вари, веселый топот совсем маленькой Веры и почувствовал, что писать больше не может. Он уронил голову на руки и заплакал бессильными облегчающими слезами.

Шешковский, войдя, увидел его поникшую поседевшую голову, подрагивающие плечи и усмехнулся. Он любил, когда плакали заключенные.

Государыня занемогла: вести из Франции были одна черней другой. Она ходила по дворцовым комнатам, зябко поводя плечами под меховой накидкой, и никого не хотела видеть, кроме собачки Тезея.

Знобило, хотя на дворе был жаркий июль. «Варвары, варвары», — шептала она, и Тезей в ответ повиливал хвостом. «Варвары» относилось к французам, которые намеревались низложить короля. Почта рассказывала о преступной речи Робеспьера, который посмел поднять руку на священную особу Людовика XVI.

К вечеру она совсем расхандрилась и слегла в по-

стель. Был призван лекарь, который с озабоченным ученым видом прописал ей микстуру. Она с улыбкой сказала ему: «Ах, доктор, я могу выздороветь только от лекарства, которое пришлют из Франции». Лекарь не понял намека, пустился в пространные рассуждения о пользе приписываемой микстуры, которая не уступает заморским. Екатерина вздохнула: «Я буду пить вашу настойку, я самая послушная женщина во всем государстве. Что остается делать бедной вдове, которую всякий может обидеть!»

Ночью она плохо спала. Утром решила не звать секретаря и сама стала растапливать камин. Вдруг из трубы послышался крик. Она в испуге отпрянула: неужели убийца? Но голос из трубы был тонким, дрожащим.

— Матушка-государыня, — завизжали в трубе, — зажаришь меня! Погаси огонь, христа ради! Я трубочист, Петька!

Она залила огонь. Слышно было, как стремительно карабкается вверх мальчишка.

— Спасибо, матушка! Век за тебя бога буду молить, — осчастливленный трубочист был уже на крыше.

Она засмеялась и повеселела.

К полудню явился Шешковский. Он подал бумаги по делу Новикова.

Государыня нахмурилась, и маленькие складки хищно подсекли нос. Она листала дело, покачивая головой.

— Виляет, таится.

— Виляет, змея.

— «Умилосердись над бедными сиротами, детьми моими...» Каков? А что думал раньше?

— Вот о детях-то и не думал. Потому как жесток.

— Жесток! — Она просияла. — Верно ты сказал, Степан Иванович! Жесток! Это было ясно еще тогда, когда он «Трутень» издавал. Мы с Козицким ему пеняли: надо ласковее к людям быть, снисходительнее к их недостаткам.

Екатерина задумалась.

— Кается в неосторожных поступках. Однако замыслов своих не открывает и убеждений не осуждает. Он должен прямо сказать, что от взглядов своих отказывается, осуждает свою крайнюю слепоту и невежество. Милосердие проливается на раскаявшихся. Ах это милосердие!.. А кто жалеет доброго короля французов?

Она зябко повела плечами.

— Ваше величество, — торжественно заговорил Шешковский, — преступник обливается слезами. Смею надеяться, что наступил момент ковать железо: оно размякло.

— Верю, Степан Иванович, твоему чутью... Пусть раскается. Тогда и о снисхождении можно подумать.

Через час Шешковский мчался в Шлиссельбург.

Николай Иванович стоял посреди комнаты, потупившись.

Шешковский повертел суковатую палку и со вздохом поставил ее в угол... Нет, палка для уговоров не годилась.

— Ты рассказал о ваших сборищах, — терпеливо продолжал он, — кое-что ты, правда, утаил, кое в чем слукавил. Но я все твои ходы раскрыл. Теперь же ты должен объявить, что масонское ваше учение зловредно и деятельность твоя развращала людей.

Николай Иванович молчал.

— Молчишь? Каждая минута твоего молчания стоит тебе годов заточения.

— Что же я должен сказать? — произнес вдруг Новиков, глядя прямо в глаза Шешковскому. — Что голодным не надо помогать? Что не нужно просвещать людей?

— Ты стоял на ложном пути. Ты должен осудить свои убеждения, ибо они неправильны.

Николай Иванович молчал.

— У тебя было время подумать. Помни: твоя участь в твоих руках.

Николай Иванович не отвечал.

Шешковский ждал слез, обморока, но тот стоял прямо, крепко сцепив пальцы. Степан Иванович не выдержал:

— Когда Емелька Пугачев взошел на эшафот, он сказал: «Прости, народ православный!» Ты тоже это скажешь!

Николай Иванович только сильнее сжал пальцы.

— Нет.

— Не кается, а милосердия просит. Но всему предел есть. Обнаруженные и им признанные преступления столь важны, что нещадной повергают его казни. Пиши указ! Начни с указания на дух корыстолюбия, который им овладел.

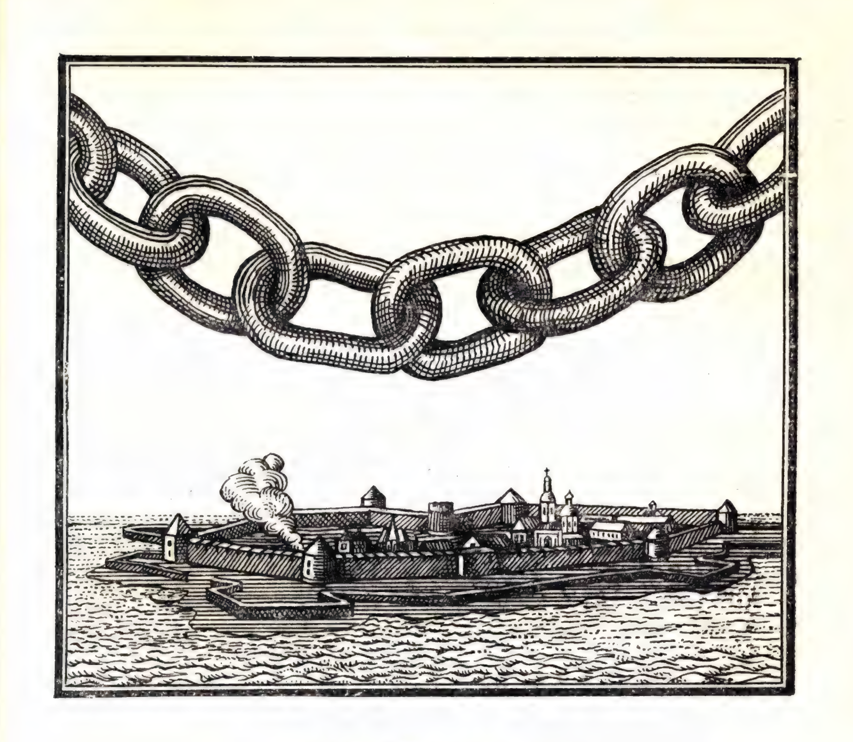
Храповицкий выписывал пункт за пунктом. Их было шесть...

— Однако ж и в сем случае, следуя сродному нам человеколюбию и оставляя ему время на принесение в своих злодействах покаяния... мы освободили его от казни и повелели запереть его на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость. Его сообщникам повелеваем отправиться в их отдаленные от столиц деревни и там иметь пребывание.

Шешковский глянул с удивлением. Он ждал продолжения дела, присылки новых преступников, сообщников Новикова, но государыня никак не ответила на его вопросительный взгляд: остальные преступники, видно, мало волновали ее.

— А теперь другой указ, секретно, — сказала Екатерина, — о награждении начальника тайной экспедиции. Да, указ об ордене и об имении в Коломенском уезде. Это неподалеку, говорят, от новиковского Авдотьина... А князю Прозоровскому — шиш! Вот уж нескладный на мою голову навязался! Не умеет дело вести, без твоей помощи ничего не смог бы, Степан Иванович?

— Конечно, не смог бы, — осклабился Шешковский.



ШЛИССЕЛЬБУРГ

«При истоке Невы из Ладожского озера, в 60 верстах от города Санкт-Петербурга, на низменном песчаном острове — Шлиссельбургская крепость. По названию острова первоначально именовалась «Ореховой», или «Орешком».

Из старого словаря

Пушка палила в полдень. Ветер с Ладоги сминал звук выстрела, отбрасывал его за Неву в леса. Из камеры было слышно, будто лопалась хлопушка.

Но, когда на озере разгуливалась волна, крепость гудела. Николай Иванович припадал к зарешеченному окошку и слушал. За крепостной стеной, за Королевской башней тяжело били волны. Низко бежали встревоженные тучи. Птицы прятались под трехметровыми стенами: птицам в крепости было хорошо, покойно.

На втором верхнем этаже каземата стонал беглый арестант Протопопов, приговоренный к заключению в крепости «за отвращение от веры и неповиновение церкви». В непогоду он делался буйным, кричал, рвал решетку, слал проклятия богу. Николай Иванович в отчаянии затыкал уши.

— Доктор! Что делать? Его надо вразумить...

Багрянский лежал на кровати, задрав уже отросшую в Шлиссельбурге бороду.

— Мы бессильны, — мрачно отвечал он, — мы в могиле.

— Нет! Когито эрго сум. Мы мыслим, следовательно, существуем.

— Вы помните латынь, — усмехнулся доктор. — А я стал забывать свое имя.

— Мы здесь всего лишь полгода. Что же будет с нами через четырнадцать лет?

Багрянский молча провел пальцем по стене. На пальце остался жирный слой пыли.

— Вот что...

Николай Иванович отошел к окну.

Вечером он шептался с караульным солдатом, в чем-то его убеждал. Солдат привел офицера. «Доложу коменданту», — ответил офицер.

Через два дня загремела дверь, и Новикова вывели в сени.

— Твоя просьба удовлетворена, — сказал офицер. Солдат держал в руках ящик, в котором сидела курица на яйцах.

Николай Иванович счастливо улыбался.

— Ящик пусть стоит здесь, — продолжал офицер. —

Будешь выходить со стражей. Но если что-нибудь задумал, помни: прикую к стене.

С той поры у камеры номер девять Секретного дома постоянно раздавалось кудахтанье курицы и писк цыплят. Николай Иванович каждый день с нетерпением ожидал, когда загремит ключ в двери и солдат разрешит проведать ему своих любимцев. После того как вывелся третий выводок и ни одно яйцо не пропало, из каждого явился на свет пушистый комочек, караульный солдат поразился:

— В жизни такого не видал! Ты, верно, колдун?

— Нет, не колдун! — отвечал Николай Иванович.

— Как же ты не колдун, ежели из всех яиц цыплята выводятся?

— А я вот сухой мох подкладывал, наседке легче греть, — объяснял Николай Иванович.

— Эвон мох! Ты, верно, курицу заговаривал. Все шептал что-то над ней.

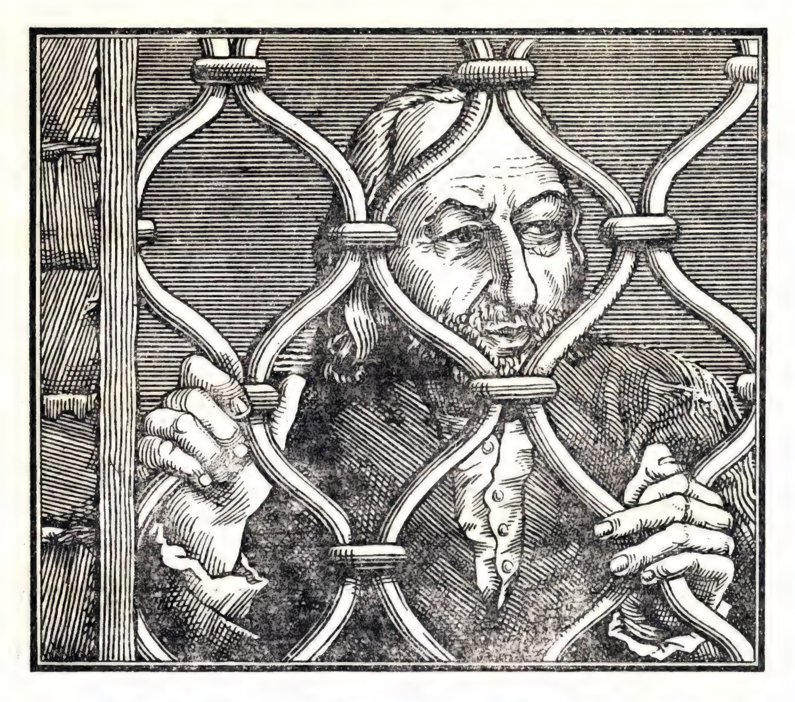
— Я с ней беседовал. Скучно здесь, а курица умная.

— Врешь, колдовал. Тебя за черную магию и посадили в крепость. Ты, сказывают, золото из камня делал.

Николай Иванович вздыхал в ответ, а солдат пуще прежнего уверялся в том, что преступник, коли захочет, так и на метле из крепости улетит. Недаром за ним особый надзор вести приказано, недаром содержать его одного на нижнем этаже велели, только разрешили быть при нем доктору и слуге, но чтоб соседей не было.

Весной, только пригрело солнце, курицу выпустили во двор, и Николай Иванович, припав к окну, часами жадно следил за тем, как гуляла его любимица, а если она удалялась, тревожился.

Иногда перед Секретным домом проходил комендант Колюбакин. Он останавливался, смотрел на окна, из которых выглядывали арестанты, качал головой: «Зверинец!» Казематы срослись с крепостной стеной,



вытянулись вдоль нее; камеры как клетки, и заключенные смотрят из них, словно дикие звери, — ходи и разглядывай нелюдей, только ров перед «зверинцем» мешает близко подойти.

Комендант часто напивался и палил в знак сего из пушки. Выпустив вместе с тоской в озеро запас ядер, он успокаивался, трезвел и собирался на рыбную ловлю. Возвращался с Ладоги в лодке, наполненной рыбой.

Тогда он снова появлялся перед «зверинцем» и кричал: «Я вас, злодеи, ухой накормлю! Косточкой не подавитесь!» Действительно, вскоре разносили по камерам в котле вкусное варево, и арестанты со стоном на-



брасывались на еду. В тот день светлел угрюмый Шлиссельбург, и даже буйный Протопопов успокаивался и, поев, засыпал.

Но доктора уха не радовала.

— Это блюдо пахнет волей. Нам дали кусочек воли, а мне нужна вся.

— Полной воли нет на свете, — возражал Николай Иванович.

Доктор отодвигал миску и ложился, задирая бороду к потолку, Филипп доедал за него.

Однажды Новиков открыл библию и стал читать вслух о том, как царь Дарий повелел бросить в ров со львами одного из своих губернаторов, Даниила, за то,

что тот не захотел воздать царю почестей, а продолжал молиться своему богу:

«Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила: «Даниил, раб бога живого! Бог твой, которому ты неизменно служил, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь! Во веки живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем, потому что он веровал в бога своего. И приказал царь, и приведены были люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их, и они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их...»

— Не читайте! Я устал от ваших библейских сказок, — вдруг раздраженно сказал Багрянский. — Нас не спасут ангелы, и съедят не львы, а крысы.

— Доктор! Что с вами? — огорченно спросил Николай Иванович.

— Со мной то же, что и с вами. Мы погребены.

— Мне это известно. Скажите что-нибудь интересное, — сердито сказал Новиков.

— А интересно то, что наши желудки уже не выдерживают этого питания. Скоро все будет кончено.

— Но сегодня вы съели великолепную уху.

— Тем хуже. Раз в полгода уха. Тем хуже. После нее есть гнилье невозможно.

— Не ешьте. Филипп съест, — с досадой отвечал Николай Иванович.

— Ах, вот как, — доктор вскочил. — Вы можете холодно отвернуться от человека. Вам важно быть благостным, сохранять свой внутренний покой, вам важно утешаться этой дурацкой библией.

— Нам же не дают других книг...

— Что толку от чтения... Что толку от ваших книг!

— Не надо думать об этом сейчас.

— Где же думать, как не здесь.

— Надо заняться чем-нибудь. Напишите медицинское сочинение. Я выпрошу у солдата несколько листов бумаги... Он добрый солдат и уже обещал.

— Сочинение! Довольно сочинений! Вы всю жизнь сочиняли. И вот пожинаете плоды.

— Плоды? Плоды когда-нибудь потом... когда станет больше просвещенных людей. Я только сеял.

— Ха-ха! Утешаетесь посмертной славой? А теперь цепь несчастий — ссылка друзей, наше заточение, болезнь детей, гибель учеников. Вас предупреждала государыня, просила жена не забывать о доме, но вы были упрямы, жестоки даже, вам дело было дороже людей!

— Гибель учеников? Каких учеников?

— Мне рассказал офицер охраны: в тюремной больнице скончался Фалалей. После допроса у него открылась скоротечная чахотка.

Николай Иванович пошатнулся.

— Умер?

— Да, умер, — подтвердил доктор и бросился к Новикову. Тот, бледнея, оседал на пол...

Болезнь длилась два месяца.

Он лежал безучастно, лицом к стене, не разговаривал и слушал редкие удары капель у окна, возгласы караула, крики Протопопова. Он покорно проглатывал несколько ложек, которые носил ему Филипп, закрывал глаза и снова впадал в забытье.

Иногда он напряженно прислушивался: казалось, сейчас отворится дверь и войдет офицер с царским указом об освобождении. Он вспоминал ласковую улыбку государыни, и радостное чувство доверия вновь охватывало его. Ну конечно, это ошибка. Козни злых людей. Они обманули государыню, оболгали его, и это откроется, она призовет его снова к деятельности, вер-

нет типографию, семью, имя. Ведь он немало сделал для отечества.

Но стены мертво молчали. Скрипел зубами доктор во сне. Вздыхал, молясь, Филипп. Нет, надеяться не на что. Ему уже почти пятьдесят, но, как ребенку, хочется красивой сказки. Все напрасно, доктор прав. Журналы, книги, друзья — будто сон. Незыблемым осталось одно: эта крепость «Орешек», эти мощные стены, сложенные на века, эта спокойная сила, бросившая его в каземат.

Безбородое лицо Багрянского (бороду комендант разрешил сбрить в виде особой милости) белело в сумраке. Доктор притих с того дня, когда, сообщив о смерти Фалалея, выплеснул свое раздражение и усталость. Больше они о Фалалее не говорили, словно боясь дотронуться до раны. Доктор поил Новикова настойками из трав, которые приносили караульные солдаты, и молчал. Ему теперь было дозволено выходить из камеры в крепостной двор гулять. Багрянский в сопровождении Филиппа шагал вдоль крепостных стен, глубоко дыша, счастливо озираясь, рассматривая каждую букашку. Он возвращался в камеру, принося с собой запах озера, виновато улыбаясь, словно стыдясь своего счастья. Он рассказывал о том, какая птица пролетела над крепостью и как он хотел поймать ящерицу, греющуюся на камне, но раздумал: жаль было неволить ее. Затем доктор садился за стол и записывал некоторые свои медицинские соображения и рецепты. Он стал пить вместе с Николаем Ивановичем настойку из нескольких трав, оказывающих успокоительное действие, и спал теперь помногу.

Однажды в камеру явился комендант Колюбакин. Был он трезв, держался прямо, чело сурово нахмурено: хоть лепи с него римского цезаря. Он прошелся по камере, зачем-то постучал по стенам, подергал решетку на окне и, скрестив руки на груди, вопросил:

— На что жалуешься?

— Доволен всем, — отвечал Николай Иванович, с интересом рассматривая коменданта. Тот откинул круглую голову и захохотал, сразу потеряв сходство с римскими цезарями.

— Ха-ха!.. Рубль на день... Но могу похлопотать о дополнительных ассигнованиях. Питание преступника зависит от его поведения.

Колюбакин шагал по камере и ударом каблука ставил точку после каждой фразы.

— Что арестант думает о себе и об отечестве, то и ест. Думы гнилые, и еда гнилая.

Заключенные молчали.

— Однако всяк своего счастья кузнец. Вы, господин Новиков, словом владеете, библию читаете. Слово лечит, слово и кормит. А говорю я к тому, что смутьяна Протопопова надо на путь истинный наставить. Он от веры отверзается, в буйство приходит, тюрьму будоражит, покаявшихся смущает. Пробовали мы его уговорить, посекли немного — не помогает. Вы бы побеседовали с ним о божественном, рассказали, просветили заблудшего. Побеседуйте с Протопоповым, растолкуйте про обязанности человека, объясните ему, кому бог помогает, а от кого отворачивается. Вон Савва Сирский, фальшивомонетчик, молится ежечасно, на лбу шишку уж набил от поклонов, но душу свою спасет. Побеседуйте, а я похлопочу о довольствии.

— Плохой из меня проповедник, господин комендант, — сказал Новиков. — Я болен.

— А вы не отказывайтесь, господин арестант, — сердито сказал Колюбакин. — Уха-то вкусна?

— Вкусна...

— То-то. Завтра Протопопова приведем.

Перед обедом следующего дня Багрянского и Филиппа вывели на прогулку... Минут через пять снова загремела дверь, и караульный солдат Степан втолкнул в камеру какого-то человека.

Николай Иванович невольно отпрянул. Перед ним

стоял кряжистый, в изодранном арестантском халате мужик с длинной бородой и длинными, до плеч, волосами. На лице по-детски тоскливо светились серые глаза.

— Кто ты? — Николай Иванович ощутил, как быстро забилось сердце.

— Протопопов. Не бойся... Чего тебе бояться, коли ты можешь превратить человека в камень, а камень в золото.

— Вздор... Кто тебе сказал?

— Это все знают, не скрывай. Ты мне нужен. Мы сбежим с тобой из крепости.

— Из Шлиссельбурга еще никто не сбежал.

— Молчи... Слушай, — шептал Протопопов. — Я через Степана-солдата дам тебе знак, Степан верный мне... Значит, в ту ночь побег. Ты заговоришь офицера, пусть он онемеет как бревно.

Николай Иванович засмеялся.

— Эх, Протопопов, я сам стал как бревно.

— Как офицер онемеет, Степан откроет двери.

— А ежели не онемеет? — уже спокойно спросил Новиков.

— Не онемеет, так я его пришью.

— Ты бога-то не боишься?

— Слыхал про такого, да не верю. Миром черти управляют.

— Так ты меня за черта принимаешь?

— Ты колдун. Черной магией владеешь. Я знал одного пугачевца. Его уж солдаты было схватили, а он мышью обернулся и ушел. Слово знал.

— Слова мои бессильны. Оттого и в крепость попал.

— Может, ты уже силу колдовскую потерял? — с подозрением спросил Протопопов.

— У меня и не было ее.

— Не было? Ну уж врешь, — успокоенно сказал Протопопов. — А почему курица все яйца высиживала?

— Это курица волшебница, а не я.

Протопопов отчаянно закрутил головой.

— Барин, не смейся надо мной! Был я дурак, а теперь маленько поумнел.

— Как же ты поумнел, коль про бога забыл?

— А ты стыдить меня будешь, в веру обращать? — настороженно спросил Протопопов.

— Что же я тебе скажу, ежели я сам в неповиновении церкви обвинен?

— Вот и я говорю! Ты такой же, как я, — обрадованно воскликнул Протопопов и опять понизил голос: — И дорога нам с тобой одна — на волю! Золото сделаешь, ничего тогда не страшно. С деньгами ого! На Дон уйдем или на Север, оттуда в Англию. Помоги! Сила твоя, сказывают, большая. Сама царица тебя страшится. Все уйдем: и ты, и я, и доктор, и Степан.

— А Филипп?

— Филипп в лодку не поместится.

— Ах, вот как... Тогда и я не помещусь.

— Барин! На тебя вся надежда!

Протопопов рухнул на колени и пополз к Николаю Ивановичу. Загремела дверь, появился офицер.

— Вишь, проняло, — удовлетворенно сказал он. — Кается...

Протопопова вывели.

Снова потянулись дни, похожие один на другой, как кресты на могилах солдат перед окнами «зверинца», павших при взятии крепости «Орешек». Протопопов затих. Колюбакин, зайдя как-то в камеру, сказал с удовлетворением: «Вот что значит слово христианское. Человеку, владеющему словом, воздастся».

Дня через два чья-то рука поставила на окно туесок с солеными грибами, и женский голосок тихо произнес: «Господин комендант велели преподнесть».

Ночь была бурной. Ветер свистел над казематами, бросал в окна капли дождя, снежную крупу. Берег гудел от ударов разгулявшейся Ладоги. Раскачивался колокол около цейхгауза и тихо, печально позванивал.

Доктор возбужденно ходил у окна и прислушивался.

— Вы странный человек, Михаил Иванович, — сказал Новиков. — Вы обличали меня за иллюзии, за мечты, но теперь сами предаетесь им!

Багрянский только глянул холодно.

— На что вы надеетесь? — снова заговорил Новиков.

— Я надеюсь на сильных людей. Они не читают библию, они действуют.

Тишина звенела. Николай Иванович провел рукой по груди — гулко стучало сердце. Филипп беспокойно вздыхал.

Прошел час. Изредка слабо ударял колокол. Где-то наверху звякнуло.

— Это офицер ходит, — прошептал Филипп.

— Офицер спит, — усмехнулся Багрянский. — Он сам попросил моей настойки. Я дал посильнее. Вы не хотели помочь Протопопову, — он повернулся к Новикову, — помог я.

Прошло еще минут десять. Вдруг за окном ударил выстрел. Филипп охнул и перекрестился. Доктор рванулся к двери. Послышались еще выстрелы. Колокол зазвонил тревожно. Топот ног, опять выстрелы.

Стихло.

— Все, — доктор упал на кровать и больше не произнес ни слова.

Только через неделю Филипп доведался у караульного солдата о случившемся. Протопопов и Степан сбежали, но им удалось добраться лишь до лодки. С башни по ним стреляли. Степана убили, Протопопова ранили и снова бросили в камеру наверху.

Офицера, проспавшего побег, разжаловали в солдаты, караульным всыпали палок и перевели в другой полк.

Николай Иванович молился за убитого. Доктор безучастно лежал на кровати.

Однажды он приподнял голову и увидел, как Новиков что-то записывает, спросил хрипло:

— Что вы пишете?

— Так... Отдельные мысли, рассуждения...

— Нужны ли человечеству наши поучения? — Он хотел что-то добавить и бессильно махнул рукой: — Кончено...

Ночью он пытался гвоздем открыть себе вены, кричал, бился о стену. Вошел офицер и ударом палки свалил Багрянского на пол. Два дня не смыкали глаз Новиков и Филипп: доктор метался в бреду.

Только на третий день он пришел в себя, но не отвечал на вопросы и, отворачиваясь к стене, плакал тихо и подолгу.

Ладога дышала полярным холодом. Николай Иванович натягивал на плечи потрепанное одеяло и хлопотал над больным.

Иногда долгими вечерами он садился писать государыне.

Но утром рвал написанное.

Доктору снова разрешили гулять... Филипп слышал, как во время прогулки Багрянский стал жаловаться коменданту на свою судьбу, на то, что был обманут масонами, прельстился их злато-розовым учением и вот погиб.

Комендант сочувственно покивал и распорядился увеличить доктору время прогулки.

Падал снег с неба, мертвая тишина окутывала крепость.

Приехал из Петербурга чиновник, посланный Шешковским выведать, как живут заключенные, и написал в тайную экспедицию, что живут хорошо, всем довольны, только важный государственный преступник Новиков изволил жаловаться на скудное питание.

Николай Иванович неутомимо врачевал: он поил доктора настойками, растирал ему ноги, заставлял его приседать и вдыхать глубоко. Доктор подчинялся с без-

участным видом. Так же равнодушно он слушал чтение библии. Но когда Николай Иванович стал читать ему трактат «О воспитании и наставлении детей», доктор вдруг встрепенулся и начал указывать, что следует написать о вреде конфет, ибо краски, которыми раскрашиваются конфеты, содержат вредную остроту и повреждают нежную внутренность ребенка.

Николай Иванович обрадованно записывал слова доктора. Затем они сочинили рассуждение о пользе танцев, и доктор опять-таки добавлял к рассуждению свои соображения о пользе тихого танцевания — минуэта, польского танца и некоторых русских танцев, и о вреде танцев, требующих сильного движения, — как-то английских и немецких, которые, «утомляя и истощая тело, причиняют горячки, кровохарканье и болезнь в легком».

Николай Иванович записывал, радуясь живому блеску глаз выздоравливающего.

Спустя два года, 6 ноября 1796 года скончалась Екатерина II. На следующий день Павел I, новый император российский, подписывает указ об освобождении узников Шлиссельбурга.

9 ноября комендант Колюбакин, почтительно кланяясь, сводит Новикова, Багрянского и Филиппа к лодке. Солдат делает «на караул», и, когда лодка отходит от острова Орешек, салютуя, стреляет крепостная пушка.

Кони вихрем несут кибитку на юг. Ни на минуту не задерживают смотрители на станциях лошадей, меняют сразу, не дожидаясь напоминаний. Важную особу везут в Москву, хоть и одета та особа в разодранный тулуп.

19 ноября показалась авдотьинская церковь. Слух о приезде обогнал коней, возле дома Николая Ивановича ждала толпа.

С криком выбежал Ваня и бросился на шею к отцу. Всхлипывая, не узнавая, испуганно смотрела Варя, старшая дочь, на седобородого изможденного человека, которого шатало от слабости и от объятий. Бабы причи-

тали в голос, целуя руки барина. Гамалея, решительно отстраняя мужиков, лезших обниматься, уводил Николая Ивановича под руку в дом.

«Экая борода, словно у разбойника...» — говорили авдотьинцы, качая головами. «Глаза светятся, как у Николая-угодника». «Обидели нашего кормильца». «Боялась его царица, ох как боялась, с испугу и померла». «Назначат теперь его генералом». Отдохнуть Новикову так и не удалось. На следующий день фельдъегерь, остановив разгоряченных лошадей у крыльца, стуча сапогами, ворвался в дом, напугав всех: не снова ли арестовывать приехал? Фельдъегерь привез приказ императора явиться сейчас в Петербург.

И снова бешеная гонка по дороге из Москвы в Петербург. «Не успел бороду побрить», — вздыхал Николай Иванович. «Ничего, оно даже лучше, — усмехался фельдъегерь, — государю императору так будет интереснее на вас посмотреть...»

Павел I принял его в Зимнем. Царь пошел навстречу, раскрывая объятия. Он ткнулся неловко лбом в плечо Новикова и тотчас отстранился всматриваясь.

— Боже, как ты изменился!

Павел вытащил платок и смахнул набежавшие слезы...

— Тебе воздастся за страдания!

— Я благодарен судьбе за перенесенное, — отвечал Николай Иванович.

— Ах, я тебя так понимаю! Дух мужает в горестях. Я сам перестрадал... Думаешь, я жил во дворце? — крикнул он. — Я был в тюрьме. Да! В тюрьме. Я был узником среди этой роскоши, тебе было легче там, в сырой яме.

Павел снова прижал платок к глазам.

— Садись! Что ж ты стоишь?! Не царь перед тобой, а друг!

Николай Иванович опустился в кресло. Все было как во сне, и сон этот уже долго длился.

Павел сел неподалеку.

— Как же ты? — спросил он, укоряюще улыбаясь. — Я тебя освободил, а ты не приехал поблагодарить меня?

— Ты занят очень. Вон у тебя целое государство, сколько забот.

— Для тебя всегда нашел бы минуту.

— Да и нездоров я.

— Лечись. Тебя примет лучший лекарь Петербурга — Штокман. Он немец. Разве русский может быть хорошим врачом?

— Может, — сказал Николай Иванович.

Павел нахмурился.

— Ты просто добрый человек. И не хочешь строго судить русских. Но, боже мой, какое отсталое это племя!

— Русских надо просвещать.

— Учение им только во вред. Ими нужно просто повелевать.

— Им нужны умные книги.

— Согласен. Но книги должны выходить из умных рук. Матушка закрыла вольные типографии и мудро поступила. Издавал всяк кому не лень! Но ты можешь издавать! Я даже приказываю тебе издавать!

— Я болен.

— Ты будешь здоров. Я прикажу тебя вылечить.

— Я поправлюсь в деревне.

— Да, в Павловске я тоже лучше себя чувствую.

— Тебе в Петербурге будет тяжело.

— Я построю новый дворец — Михайловский на месте старого. Там я родился, там хочу и умереть. А здесь меня по ночам кошмары мучат. Однажды матушка явилась вся в белом и сказала: «Непослушный сын». Зачем она так сказала, а? — крикнул он, побледнев. — А тебе сны снятся? — продолжал Павел, обмахнув лицо платком.

— Снятся. И ты недавно снился.

— Расскажи.

— Да сон нехорош.



— Расскажи! Ты думаешь, я боюсь снов? Я совсем не боюсь.

— Снилось, будто мы с тобой играем в чехарду.

— Ха-ха! Вот вздор!

— Прыгаем мы этак друг через друга. Я дальше тебя прыгнул. Повернулся назад. Глядь, ты стоишь без головы.

— Вздор! Почему без головы? — опять бледнея, закричал Павел.

— Не знаю. Сон такой.

— Вздор, — задумчиво сказал Павел. — Ах какой вздор!

Он вскочил и забегал по комнате.

— Мне смешное снилось. Будто я езжу на Алешке Орлове верхом. Езжу на нем и хлыстиком хлещу. Вот так, вот так! Ха-ха!

Павел смеялся, взвизгивая, стегал себя платком по ягодице. Потом оборвал смех и, вплотную склонившись над Новиковым, зашептал:

— Я Алешку Орлова заставил за гробом отца моего идти, за истлевшим телом императора российского Петра Федоровича, убитого, да, убитого — я знаю! — Алешкой.

Он дышал прерывисто, и волосы от переживаемого ужаса топорщились на его голове.

— Рядом с покойной матушкой я батюшку положил. Да, из могилы вырыл и рядом положил. Слава богу, помирил их. А Алешку заставил за гробом идти, его наказал!

Павел упал в кресло, глядя расширившимися глазами на Новикова. Тот чувствовал подступающую дурноту.

— А ты где был тогда? — вдруг резко спросил Павел.

— Когда? — слабо отозвался Николай Иванович, уже плохо понимая.

— Тогда, в июне 1762 года.

— Я служил в Измайловском полку.

— Ах, ты измайловец! Нехорошо. Отчего я не знал, что ты измайловец? Погубили тогда батюшку.

— Да, погубили, — еле слышно сказал Николай Иванович.

Павел отер лицо и сунул платок за обшлаг рукава.

— Ты понимаешь свою вину, и тебе простится, — спокойно сказал он. — Не будем говорить о сем несчастии. Надо жить. От тебя жду дел для пользы отечества! — крикнул он. — Тебе деньги нужны? Проси, не стесняйся!

— Нет, — твердо сказал Николай Иванович, ста-

раясь не думать о своих долгах в сотни тысяч рублей, которые числились за ним еще до заключения.

— Что ж царской милостью брезгуешь? А государыня говорила, что ты корыстен и что погубила тебя алчность!

Николай Иванович молчал.

— Ну полно. — Павел положил руку ему на плечо. — Иди с богом! Помни, дел от тебя жду во славу России!

Новиков низко поклонился.

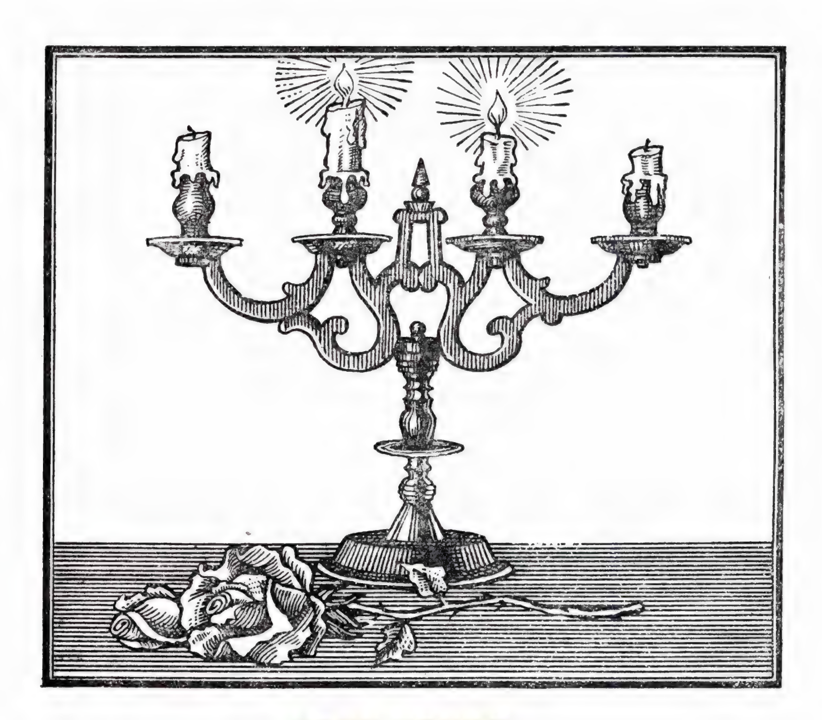
На площади перед дворцом стояла коляска, у которой поджидал хозяина верный Филипп.

Николай Иванович устало оперся о руку слуги.

— Если б крылья, сейчас полетел в Авдотьино. Близ царя — близ смерти.

— По морозцу-то быстро добежим. За три дня.

Ледяной ветер с Невы швырнул вслед коляске горсти снежной крупы и присыпал следы колес.



СВЕТ СВЕЧИ

Рушились старые королевства, одерживал блестящие победы генерал Бонапарт, менялась карта Европы.

Промозглой мартовской ночью 1801 года в одну из комнат Михайловского замка ворвалась толпа заговорщиков. Царя Павла I задушили офицерским шарфом. Наутро новый властитель, Александр I взошел на отцовский трон. Россия опять ожидала перемен.

...Тихо текла жизнь Новикова. Уже десятый год он почти не выезжает из Авдотьина. По ночам тамошние крестьяне часто видят в окне желтый, колеблемый дыханием огонек...

Он просыпался раньше всех: в четыре часа утра. Зажигал свечу, садился за стол и сидел некоторое время неподвижно, не прикасаясь к бумаге, вслушиваясь в ночные звуки. Вскрикивал во сне Ваня — он спал в соседней комнате (уже тринадцатый год, со времени ареста отца, треплет сына падучая). Снизу, с первого этажа, доносилось покашливание Гамалеи...

Минувшее всплывало в памяти легко, виделось отчетливо, словно слегка пожелтевшая картинка в старом журнале, и уже не причиняло ни боли, ни радости.

Радовал его вновь обретенный дом. Каждая вещь здесь теперь стала теплой, нужной, интересной. И этот старый, покривившийся подсвечник, и стул, на котором он сидел, и кочерга у печи, и кот, трущийся у ног, — каждая мелочь была значительной, важной, имеющей особый смысл. Прежде так не было. Прежде в Авдотьине ему быстро прискучивало, и он спешил в Москву. Теперь мир стал узким, но не менее значительным, чем прежний, московский, хотя его освещала одна свеча.

Николай Иванович пододвинул бумагу, которую вчера принес ему староста, Герасим Лукьянов, мужик толковый, грамотный, трезвый. Герасим записал выручку, которую вчера получил от продажи двух бычков. Записан был и доход от сукна, что выделывалось на собственной авдотьинской фабрике. Николай Иванович внес цифры в тетрадь и спрятал ее в бюро.

Хозяйственными делами он займется днем; пока в доме тихо, нужно ответить Карамзину. Напрасные комплименты рассыпал Карамзин в письме: «истинный ревнитель просвещения, образованнейший человек, усилия которого так нужны обществу». Добрый человек Николай Михайлович, хочет приободрить опального помещика.

Нужны ли утешения? Он и сам утешится, побродив по берегам Северки да поговорив с мужиками.

«Однако, любезный мой, — написал Николай Иванович, — не забывайте, что с Вами говорит невежда, не

знающий никаких языков, не читающий никаких школьных философов, они никогда не лезли в мою голову: это странность, однако истинно было так...»

Истинно было так... Не лезли в голову, ему всегда требовалось дело, которое давало ощутимые плоды. Ему всегда хотелось, чтобы курица несла яйца, а не только кудахтала.

«Вы меня обрадовали, что не стоите за философию. Я думаю, что только тот может назваться ищущим, который, хотя и ошибаясь, однако искал истину и, наконец, воистину найдет истину».

Он сообщил об авдотьинских новостях, пригласил к себе. Хотел было подписаться, но остановился, вспомнив о рассуждении Карамзина на астрономические темы. Ссылался Николай Михайлович на мнение астрономов, что-де существуют неподвижные звезды и оттого мир прекрасен, что они своим вечным сиянием его освещают. Величественна и прекрасна вселенная в своем постоянстве.

Подумав, Николай Иванович приписал: «Неподвижных звезд быть не может, ибо неоспоримая истина: что не имеет движения, то мертво, понеже жизнь есть движение».

Аккуратно запечатав конверт, он с нежностью погладил его. Карамзин — им посаженный росток (ведь начинал тот с Дружеского общества). А как расцвел, какие плоды! Издатель журнала «Вестник Европы», пишет «Историю государства Российского». Николай Иванович невольно вздохнул и встревожился от своего вздоха. Зависть? Нет, завидовать бессмысленно, для него широкая деятельность кончена. Да и долги! Ныне на дворе 1805 год — почти десять лет он не может расплатиться с долгами.

Теперь поле деятельности — Авдотьино, тихое, ясное. Впрочем, бури и здесь бывают. Вчера сын Филиппа Григорий явился из Москвы пьяным. Ходил по деревне в сапогах, надраенных так, что глаза слепило. Кра-

совался Григорий, посмеивался над деревенскими лапотниками, что он каменные мостовые кладет в Москве, а здесь по уши в грязи все ходят и потому в деревне ему неинтересно... Сегодня с Григорием надо поговорить.

До завтрака остался час. Николай Иванович достал из стопки книг карамзинский журнал «Вестник Европы» и углубился в чтение.

За завтраком обычно говорили мало, каждый думал о своих делах.

Но сегодня добрейший Семен Иванович разворчался: оказалось, что дети помещика Ладыженского, вчера приезжавшие в гости, разметали, озорничая, два стога сена, которые принадлежали крестьянам. Не прибрали за собой, безобразники, сели на лошадей и укатили.

— А стога Никодима, бедняка, — заключил Семен Иванович, грозно сверкнув глазами из-под насупленных бровей.

Николай Иванович вздохнул.

— Поеду к Ладыженским, побраню их наследников.

— Их бы... — заворчал Семен Иванович, не зная по доброте своей, какое наказание придумать озорникам. — Их бы луг заставить выкосить, знали бы барчуки...

— И то дело, — согласно кивнул Николай Иванович и, желая перевести разговор в спокойное русло, добавил: — При дворе императрицы тоже однажды стога разметали.

— Как это? — встрепенулась Верочка.

— А так. Стояли в Царском Селе на лужайках копны, их намеренно повсюду расставили, чтобы было похоже на рай земной, Эдем. Гуляла как-то императрица по лужайкам со своей свитой. Заключали кортеж пажи. Князь Платон Алексадрович Зубов подзывает пажей и говорит: «Возьмите генерала Львова и бросьте его в копну». Пажи смутились: как быть? Ослушаться нельзя, но и старика Львова страшно схватить. Ну как осердится, беда тогда — розги! А Зубову уж очень хочется гуляние сделать веселее, посмешить царицу. Взял Зубов ку-

сочек сена и очень вежливо положил на плечо императрице. Как это все увидели — словно опьянели. И пошли кто во что горазд разметывать копны, бросать сено на фрейлин, кавалеров. А стая пажей бросилась на Львова, повалила на копну и принялась забрасывать его сеном. Он кричит, бранится, а Зубов с великим князем его за ноги тащат. Копны все разметали, а императрица села на скамейку и хохотала.

Верочка смеялась, только Семен Иванович хмурился.

— Слыхал я про царицыно баловство, только ничего хорошего в нем не нахожу. Однажды тоже в Царском Селе играли в доктора и больного. Положили Нащокина на живот и клистир ему поставили. Государыня тоже смотрела и смеялась до слез. Очень веселая была царица, — проворчал Семен Иванович, — царство небесное!

— Не надо зла в сердце держать, — сказал Николай Иванович, поднимаясь из-за стола.

Семен Иванович только запыхтел в ответ.

Новиков вышел из дома, держа в руках кошелку. Он миновал церковь, которую поставил и освятил еще отец, двинулся вдоль изб, протянувшихся в ряд. На месте сгоревшей избы Прохорова работали каменщики, выкладывали дом для погорельцев — большую каменную избу на четыре семьи, которую уж не сожрет пожар.

Кошелка быстро легчала: дети, завидев Николая Ивановича, подбегали, и он награждал каждого пряником.

С Григорием Филипповым разговор был недлинный. Немного поломавшись, кирпичник обещал помочь ставить каменные избы. Лестно все-таки: сам барин уговаривает.

Поладив с Григорием, Николай Иванович пошел в поле взглянуть на хлеба. Нива была низкорослой, хлеба стояли тощие, заморенные засухой. Николай Иванович горестно растер колос: плохой урожай, опять покупать зерно для прокормления деревни.

Нужно было еще зайти на фабричку посмотреть, вы-

делывается ли сукно. Тридцать станков закупил, а работают лишь семь.

Он помедлил перед неприятным делом и, чтобы утешиться, пошел по саду. Ветви сгибались под тяжестью яблок, гроздья вишен нежно задевали лицо. С мягкой и могучей силой тянулись деревья к солнцу, со спокойной щедростью отдавая плоды. «Так и надо жить, так и надо», — наставительно шептал Николай Иванович, раздвигая ветки. И пока он шел по саду, он был уверен в том, что так и надо жить, но, стоило ему выйти к дому, расстаться с очарованием сада, на него наступали заботы и волнения, и он острее понимал, что напрасно себя убеждает, что жить бесстрастно, подобно дереву или траве, невозможно.

Мысли его были прерваны. К дому подъехала коляска.

Располневший Багрянский неторопливо сошел на землю.

— Господи, доктор! — воскликнул Новиков, обнимая его. — Вы ли? Не узнать!

— Не мудрено, что не узнаете. Ни с кем не хотите знаться, — отвечал доктор, отирая платочком лицо. — Заперлись в Авдотьине, как Вольтер в своем замке. Для вас отшельничество противоестественно.

— Отшельник? Да смотрите, сколько я нагородил. Вон фабрика, а здесь скотный двор, — говорил Николай Иванович, указывая. — А вот там дома для крестьян.

— Всю жизнь думать о других. А о себе когда?

— Ведь это удовольствие — немного забыть о себе. Но иногда шалю по-прежнему — пишу. Рассуждение о нашем веке, о прошлых летах.

— Люди сейчас занимаются делом, а вы все мечтаете.

— Каким же делом занимаются люди?

— Книгами теперь торгуют все. Оборот книжной торговли в Москве — 200 тысяч рублей в год! У издателя Бекетова не только книжная лавка, но и типография.



Он даже платит пособие нуждающимся писателям.

Николай Иванович отвернулся. Багрянский пристально рассматривал авдотьинского отшельника.

— Вы, доктор, требовали от меня обещания не заниматься издательством. Помните, в Шлиссельбурге?

— Я просил вас оставить мечтания, а не дело.

— Я оставил мечтания и занялся делом. Вот! — Новиков резко обвел рукой кругом.

— Простите, но это похоже на высиживание яиц наседкой в крепости.

— Не вы ли кушали эти яйца?

Багрянский рассмеялся.

За обедом Багрянский рассказывал, как веселится

Москва. Угощают теперь бесподобно. Недавно всех поразил граф Растопчин: он прислал на именины к тетушке подарок — огромный паштет. Тетушка велела его вскрыть, и оттуда вышел карлик, держа в руках тарелку паштета и букет незабудок.

Затем доктор снова заговорил о делах, о том, что в университете допытывались, не желает ли прославленный издатель снять в аренду типографию.

— Я нищ, — коротко отвечал Николай Иванович.

Ночью он долго не мог заснуть. Доктор разбередил его. Он явственно чувствовал крепкий запах кожаных переплетов, голова наполнялась звоном типографских машин, шелестом листов, он слышал голоса студентов, толпящихся в книжной лавке. Наваждение было столь отчетливым, что он встал, чтобы унять биение сердца, подошел к окну и, увидев сад в зыбком предрассветном сумраке, успокоенно вздохнул и, улегшись на диван, крепко заснул.

Утром Багрянский затеял было снова разговор об издательских делах, но Николай Иванович махнул рукой.

— Умерло, слава богу, умерло.

Доктор укатил, и жизнь в Авдотьине потекла попрежнему.

К вечеру приходила почта. Николай Иванович жадно прочитывал «Московские ведомости». Кутузов одолел неприятеля в битве при Кремсе. На Кузнецком мосту в магазине гасконца Гоца торговали мороженым, которое подобно «райскому нектару». На Тверском бульваре посадили липы. От полковника Есипова сбежал его дворовый человек: «росту среднего, лицом смугл, от роду 22 года...» В Кускове у Шереметева в крепостном театре поставлена опера, где заглавную партию исполняет Параша Жемчугова.

Осенние листья устлали дорожки на аллеях, когда от профессора университета Чеботарева пришло письмо: «Дорогой друг! Без вас в Москве пусто. Приезжайте!

Вы должны снова повести университетскую типографию...»

На следующее утро Филипп запрягал лошадей.

Они въехали в Москву ясным прохладным днем.

— Опозорились мы, Николай Иванович, — сокрушенно говорил Филипп, оглядываясь по сторонам, — двух коней запрягли, словно мещане какие безродные. Четверкою надо было, да еще чтоб рыжей масти по моде.

— Беда, Филипп, отстали от века.

Не доезжая Кузнецкого моста, он вылез из коляски и наказал Филиппу ехать на Никольскую домой, а сам пошел пешком. У магазина мадам Обер-Шальме, которую прозвали Обер-Шельмой, прогуливались модницы, обсуждая товары, выставленные «препронырливой» мадам: духи, кружева, люстры. На ступеньках лестницы у самого моста через реку Неглинную сидели нищие, тут же мальчишки торговали разварными яблоками и моченым горохом. Какой-то франт задел Новикова плечом и сказал по-французски: «Скотина». «Эфиоп», — ответно бросил ему Николай Иванович и остался собою чрезвычайно доволен.

Он был в приподнятом расположении духа, и городская толчея не раздражала его, а была словно предвестником какого-то праздника. Немного опечалился он, дойдя до дома Бекетова, книгоиздателя. В окнах флигеля он увидел большие типографские машины, а роскошь дома напомнила о собственной бедности.

Через Театральную площадь Николай Иванович пробрался с трудом, увязая в грязи, обходя лепешки, оставленные коровами, которых согнали сюда на продажу.

У Воскресенских ворот он остановился, чувствуя, как щемит сердце. Здесь под двумя башнями счастливо началась его деятельность, принесшая ему столько радости и горя.

Утром он приказал Филиппу запрягать лошадей и ехать на Воробьевы горы.

— Осмотримся с холма перед сражением.

Он шутил, но Филипп понял, что дело серьезное: голос хозяина дрожал.

Около замка Алексея Орлова Филипп задержал лошадей.

— Глядите!

Над широким лугом мело голубиной стаей. Белое облако опадало на голову старого графа, сидевшего посреди луга в кресле. Свистели графские холуи, и голуби уносились ввысь, сливаясь с солнцем. Чтобы Орлову было удобнее следить за полетом птиц, не запрокидывая головы, перед ним поставили огромную серебряную чашу, и граф тупо смотрел в чашу, не видя светлого неба.

Николай Иванович почувствовал, как ненависть вдруг перехватывает ему горло. Вот человек, который посеял убийство, и оно не перестает давать свои зловещие плоды.

— А у нашего Фалалея голуби веселее летали, — заметил Филипп.

Это у Фалалея Орлов отнял птиц... И жизнь... Он...

— Ах, что я? Что со мной? — хрипло сказал Николай Иванович. — Езжай!

Филипп испуганно оглянулся и хлестнул лошадей.

Остановились неподалеку от села Воробьева на высоком берегу реки. Перед ними лежала Москва. Николай Иванович снял шляпу и вздохнул глубоко. Громадный город раскатывался вдаль и терялся в бесконечности. Вспыхивали под солнцем купола церквей. Где-то летает стая его голубей — книг, выпорхнувших из Воскресенских башен?..

Граф Федор Васильевич Растопчин с утра был не в духе. Агент Степанов донес спозаранок, что в Москву прибыл Николай Новиков и поселился в своем доме на Никольской, а вечером гулял по Москве и присматривался.

«Приползла змея... Опять колдует, сатана», — Федор Васильевич пнул болонку, которая крутилась у ног. Надо принимать меры...

Вновь собирается кучка изменников, плетут свои интриги. Недавно пришла новость, что масоны намерены выбрать адмирала Мордвинова, своего сотоварища по секте, в начальники московского ополчения. Это уже удар по Растопчину, надеявшемуся возглавить ополчение.

Наполеон угрожает России, и в эти дни доверить ополчение презренным лицемерам, франкмасонам, которые втайне сочувствуют Франции! Что думает генерал-губернатор Беклешов? Тряпка...

Приполз авдотьинский скромник, почуял, что жареным пахнет. Жил осторожно, не высовывался, а теперь, верно, взыграло прежнее честолюбие и корыстолюбие. Права была покойная государыня Екатерина, которая насквозь видела это дьявольское племя.

Федор Васильевич представил, как Новиков снова станет раскидывать по Москве сети, улавливать простодушных, вымогать у них деньги, подобно тому как обирал в свое время доверчивых братьев масонов, и вскочил от возмущения.

Через несколько минут он уже летел в карете к московскому главнокомандующему Беклешову.

— Александр Андреевич, — начал Растопчин прямо с порога. — Москва в опасности. В городе появился бывший каторжник, главарь тайной секты Новиков.

— Мне это известно, — благодушно отозвался Беклешов, запахивая халат. — Не угодно ли кофию, граф?

— Известно? Что же вы думаете предпринять? — нетерпеливо спросил Растопчин.

— Отличные булочки пекут на Кузнецком мосту, — говорил Беклешов, усаживая гостя. — Угощайтесь... Неужели вас тревожит этот отшельник?

— Пятнадцать лет назад он держал в руках всю Москву.

— Теперь он ее не удержит. Руки дрожат...

— О, вы не знаете этого прохвоста. Он и в прежние времена притворялся немощным, но обирал людей как разбойник. Он был казначеем в масонской ложе и изобличен в корыстолюбии.

— Но ведь говорят, до сих пор он весь в долгах.

— Он пустил масонские денежки на ветер, издавая зловредные книги. А сам прятал сокровища в своем Авдотьине и печатал фальшивые деньги.

— Ах боже мой!

— Покойный Шешковский перед смертью рассказывал, что доктор, осужденный с Новиковым, признался в замысле покуситься на священную особу императрицы.

— Невероятно!

— Новиков был прусским шпионом, это доказано. А сейчас есть подозрение, что он метит в агенты Наполеона.

— Что же делать? Из университета сообщили, что ему предполагают отдать типографию для издания книг.

— Чудовищно! — завопил Растопчин. — Самоубийство! Этого нельзя допустить! Эти негодяи намерены взять ополчение в свои руки, теперь они хотят сеять смуту в народе с помощью книг.

— Граф! Выпейте еще чашку. Это укрепляет силы. Вам нужны спокойствие и твердость.

— Генерал! Когда речь идет о благе отечества, я спокоен и тверд. Я убежден, что вы сделаете выводы из моих слов.

Растопчин поклонился и вышел.

Беклешов позвонил в колокольчик — он вызывал начальника канцелярии.

Посещение университета встревожило Новикова.

Молодой чиновник, состоящий при ректоре, жал руку, уверял, что университет счастлив видеть в своих стенах ревнителя русского просвещения и надеется, что типо-

графия обретет былую мощь и снова станет источником, излучающим свет знаний. Но с некоторым смущением чиновник добавил, что для сдачи типографии в аренду неплохо бы иметь поручительства и рекомендации некоторых важных особ. Пустая формальность, но дело от этого выиграет.

Среди имен важных особ он назвал генерала Ляхницкого. «Влиятельный человек и большой хлебосол», — заметил чиновник.

Новиков обещал выяснить, сможет ли он собрать такие поручительства.

С тяжелым сердцем садясь в коляску, он сказал Филиппу: «Сбежит от меня Ляхницкий в окно...»

Но, против ожидания, Ляхницкий, увидев гостя, распростер объятия:

— Бог мой! Старый товарищ! Как я счастлив!

Он прижал Новикова к своему огромному животу, и из маленьких, заплывших глаз выкатилась слеза.

— Степка! — заорал он. — Тащи на стол! Кулебяку тащи! И яблочек моченых! И водку! Стерлядку не забудь! Лучку положи!

Ляхницкий вдавил Новикова в кресло и сам грохнулся в другое.

— Господи! Какая же ты злючка! Не хочешь знаться со мной! Заперся в Авдотьине и носа не кажет.

— Нездоров. Хозяйство много сил отнимает, дети.

— Ах, я понимаю тебя, хозяйство — это бездна! Сколько забот! Вот и я как белка в колесе целый день кручусь по хозяйству. Но если я крутиться не буду, ничего не сдвинется. Вот Степка и луку не положит без моего напоминания. А дела по Английскому клубу! Ты был в нашем Английском клубе на Тверской?

— Не довелось.

— И в бильярд не играешь?

— Мм... признаться, нет!

— Ах, боже мой, так нельзя жить. Тебе надо выходить на общественную арену. У нас в клубе три бильярд-

ные комнаты. Я столько сил вложил, чтобы содействовать развитию клуба. Зато любовь друзей — награда. Без друзей мы — ноль. Тебе нельзя сторониться людей! Ты непременно должен прийти в Английский клуб, это твой общественный долг!

— Постараюсь.

— Нет, ты дай обещание.

— Изволь, даю!

— То-то! Степка! Ты меня уморишь!

— Чичас...

— У меня к тебе маленькая просьба, — нерешительно сказал Николай Иванович.

— Готов исполнить большую.

— Видишь ли, у меня есть намерение снять университетскую типографию в аренду.

— Великолепно!..

— Чтобы дело совершалось быстрее, нужны рекомендации больших людей. Ну, скажем, твоя...

— Но ведь я человек маленький, — радостно сказал Ляхницкий.

— Ты всегда был большим человеком. В гренадерской роте ты стоял на правом фланге.

— Шутник. Ты не разучился шутить. Степка! — заорал Ляхницкий.

— Иду-у!

—Ну так как же? — спросил Новиков.

Ляхницкий прищурил глаза и покачался в кресле.

— Но ты ведь признайся, Николаша, немножко якобинец?

— Ты ведь знаешь, — медленно, с напряжением заговорил Николай Иванович, — масоны против всякого насилия над личностью, против всякого якобинства.

Вошел Степка с подносом.

— Что мы будем толковать о якобинцах? Лучше отведай-ка стерлядки...

— Аппетиту нет.

— Вот и обиделся. Вздор какой! Ты должен понять,

что сейчас происходит в мире. Наполеон угрожает России, вокруг шныряют его шпионы.

— Я уже был прусским шпионом, с меня достаточно. Прощай! — Николай Иванович решительно пошел к выходу.

— Ведь это глупо, гордец! Стой!

Николай Иванович не остановился.

Вечером явился чиновник от генерал-губернатора Беклешова с приглашением посетить Московское собрание. Николай Иванович, растерянно разглядывая пригласительное письмо, велел Филиппу закладывать лошадей.

Он вошел в залу, и празднично-ребяческое чувство вдруг охватило его. Музыка плескалась в люстрах, сливаясь с блеском свечей. Белые прекрасные колонны уходили ввысь, подпирая невидимый потолок. Николаю Ивановичу захотелось отбросить свою связанность и робость, пройтись беззаботно по этому сверкающему полу и — черт возьми! — пригласить даму. Он покачивался в такт музыке, сладостно забываясь, спохватываясь, посмеиваясь над собой. Да, да, он не будет стоять в стороне, он станет танцевать со всеми, делать то, что хотят все...

Из толпы вынырнул чиновник и, поклонившись, сказал, что его превосходительство генерал Беклешов ждет в комнатах для беседы.

— Рад видеть снова в столице выдающегося книгоиздателя, — сказал Беклешов, радушно разбрасывая в стороны руки, будто для объятия. Он усадил Николая Ивановича в свое кресло, сам же присел рядом на стульчик, словно подчеркивая важность гостя и собственную незначительность, стал расспрашивать о детях. Потом осторожно осведомился о намерениях, с коими Новиков прибыл в Москву.

— Намерение прежнее — издавать книги.

— Похвальная верность своему делу. Но меня беспокоит ваше здоровье и силы.

— Сил мало, однако, надеюсь, хватит.

— О, надо беречь себя.

— Если не черпать из колодца, вода протухнет.

Беклешов посмеялся, задумчиво пощелкал пальцами, присел в кресло.

— Где хотите издавать сочинения?

— Обещана университетская типография, как и прежде.

Беклешов нахмурился.

— Там студенты... Ныне беспокойны стали. Я недавно отчитал нескольких мальчишек-крикунов.

— Простите, не понимаю.

Беклешов отвел глаза.

— Студенты... мм... Могут дурно понять... Бывший... мм... масон... мм... издает книги.

— Бывший преступник, вы хотите сказать?

— Ах, зачем так? Масон, который имеет своеобразные... мм... неправильные взгляды.

Николай Иванович провел рукой по лбу.

— Нет, нет, вы рассудите меня, — заторопился Беклешов, — я сочувствую вашему делу, но интересы отечества нельзя не учитывать. Наполеон угрожает России. Это коварный враг.

— Наполеон враг. А мы не враги ли себе? Прощайте!

— Вы сердитесь, значит, вы не правы! — донеслось ему вслед и оборвалось. Он перестал слышать.

Музыка гремела, бал был в разгаре, но Новиков шел по Московскому благородному собранию, как по глухой пещере.

Утром он увидел склоненное над собой лицо Филиппа, услышал его слова.

— Ну слава богу. Я вчера перепугался. Я вам говорю, а вы ни слова в ответ, словно бы не слышите.

— Вот что, Филипп. Укладывай пожитки. Едем в Авдотьино.

— И то добро. Я уж думал, что вы за прежнее баловство принялись... Слава те господи... Одним духом.

Через час они выезжали.

Первую половину пути Новиков молчал подавленно. Будущее казалось беспросветным...

Коляска мягко катилась по сырой осенней дороге. Филипп мурлыкал песню.

На пригорке, когда завиднелся купол собора в Бронницах, Филипп остановил лошадей. Николай Иванович вылез поразмять ноги.

Чистый, как колодезная вода, воздух омыл лицо. Лес разбегался по холмам вдаль. Низкое холодноватое солнце тихо брело по выцветшему небу.

Навстречу поднимался возок. Из него высунулась знакомая помещица и закричала:

—Николай Иванович, отчего так рано вернулись? Что нового в свете?

— В свете? Не во тьме ли, сударыня?

— Ах, не шутите. Сказывают, что ныне все вист да бостон в моде, и в «Панфила» и в «хрюшки» никто не играет. Правда ли?

— Игра все та же, сударыня. И карту передергивают так же, как во времена нашей молодости.

— Насмешник! Вот я приеду в Авдотьино и научу вас новым играм.

— Боюсь, что отыгрался. Стар.

Помещица погрозила ему пальцем и покатила дальше.

Чувство счастья охватило Николая Ивановича, когда он подъезжал к Авдотьину. Гамалея, первый увидев коляску, засеменил навстречу. Лаяли собаки. У фабрики стоял Герасим и кланялся.

Нечего горевать. Счастлив человек, коли есть у него свой угол и круг любимых лиц.

Он попросил остановить возле Григория, который выкладывал стенку новой каменной избы. Григорий не-

брежно кивнул Николаю Ивановичу, ни на минуту не отвлекаясь от работы.

Новиков робко стал в стороне, следя, как точно ложились кирпичи из рук каменщика. Григорий сурово покрикивал на мальчишек, подносящих раствор.

Николай Иванович помялся и тихо попросил:

— Григорий, слышь, дай ряд положу.

Григорий посмотрел презрительно, отошел.

— Ну клади.

Николай Иванович старательно намазал раствор по ряду и тиснул кирпич: он поплыл куда-то в сторону. С трудом Николай Иванович воротил его на место и положил второй.

Новиков быстро клал кирпич за кирпичом. Оглянувшись, он похолодел: стена искривилась.

— Новик и есть! Зеленый! — снисходительно сказал Григорий. — Дело делать надо так, чтобы двести лет жило...

Николай Иванович вытер руки и смущенно побрел к дому.

Григорий крикнул:

— Приходи завтра, научу.

От Северки тянуло холодком. Николай Иванович успокоенно оглядывался по сторонам: хороша деревня — каменные палаты, двести лет стоять будут.

Дома для крестьян простояли больше двухсот лет. Они украсились верандочками, палисадниками, крыши покрыты уже не соломой, а листовым железом, но живут в новиковских домах тоже крестьяне: только зовут их теперь рабочими животноводческого совхоза... А числится этот совхоз в Ступинском районе Московской области.

Колокольня, как и прежде, остро взмывает в небо. Под плитами пола в церкви погребены останки великого просветителя. На стене невысоко прибита медная доска: «Здесь покоится тело раба божия Николая Ивановича Новикова. Родился 27 апреля 1744 года, скончался 31 июля 1818 года». Надгробный камень верного Гамалеи у церковной стены. Могилы печальны и просты, но до сих пор старухи говорят по деревне: «О, Николай Иванович в золотом гробе похоронен!» (Знать, богат был, если кормил народ в голодное время!)

Шлиссельбург теперь называется Петрокрепостью. Во время Великой Отечественной войны тысячи немецких снарядов обрушились на «Орешек». Немногочисленный советский гарнизон здесь выстоял до конца, не подпустив немцев к Ленинграду: крепкий орешек!

Девятая камера каземата, в которой содержались Новиков с Багрянским и слугой, полуразрушена. Но толстые стены крепости сохранились и стоят гигантским памятником тирании. Голуби прячутся среди обломков кирпича на втором этаже, где метался беглый арестант Протопопов, и тихо стонут. Им в крепости уютно.

Камни долговечны. Но еще долговечнее духовная сила, которую просветитель сообщает народу.

СОДЕРЖАНИЕ

Подгородников М. И.

П44 Восьмая муза. (Новиков.) Страницы жизни. Для детей среднего школьного возраста. М., «Молодая гвардия», 1978.

176 с. с ил. (Пионер — значит первый).

Повесть посвящается драматической судьбе одного из первых русских просветителей, Николая Ивановича Новикова. Его широчайшая общественная и литературная деятельность оставила глубокий след в русской истории XVIII века.

П $\frac{70803-076}{078(02)-78}$ **75—78** **002**

ИБ № 688

Для детей среднего школьного возраста

Михаил Иосифович Подгородников

ВОСЬМАЯ МУЗА

Редактор **Ия Пестова**

Художник **Владимир Любаров**

Художественный редактор **Александр Гладышев**

Технический редактор **Наталья Михайловская**

Корректоры **Галина Трибунская, Нина Павлова**

Сдано в набор 14/XI 1977 г. Подписано к печати 6/III 1978 г. А05568. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага № 1. Печ. л. 5,5 (усл. 7,7). Уч.-изд. л. 8,0. Тираж 100 000 экз. Цена 35 коп. Т. П. 1978 г., № 75. Зак. 1866.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

35 коп.



59

ВЫПУСК

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


НОВИКОВ